

Неутолимая любознательность. Как я стал ученым

Автор:

[Ричард Докинз](#)

Неутолимая любознательность. Как я стал ученым

Ричард Докинз

Издание представляет собой первую часть автобиографии известного этолога, биолога и выдающегося популяризатора науки Ричарда Докинза. Книга включает в себя не только описание первой половины жизни (как пишет сам автор) ученого, но и чрезвычайно интересные факты семейной хроники нескольких поколений семьи Докинз. Прекрасная память автора, позволяющая ему поделиться с нами захватывающими дух событиями своей жизни, искрометное чувство юмора, откровенно переданная неподдельная любовь и благодарность близким доставят истинное удовольствие и принесут немало пользы поклонникам этого выдающегося человека.

Ричард Докинз

Неутолимая любознательность. Как я стал ученым

© Richard Dawkins, 2013

© П. Петров, перевод на русский язык, 2018

© А. Бондаренко, оформление, 2018

© ООО "Издательство АСТ", 2018

* * *

Моим матери и сестре,
которые были со мной все эти годы,
и памяти моего отца,
которого нам всем так не хватает.

Гены и пробковые шлемы

“Приятно познакомиться, Клинт!” Дружелюбный работник паспортного контроля не знал, что в двойных именах британцев первое имя может быть родовым, а называть человека станут по второму имени. Имелось в виду, что я буду зваться Ричард, подобно тому, как моего отца всегда называли Джон. О нашем первом имени, Клинтон, мы почти не вспоминали, как это и предполагалось нашими родителями. Я воспринимал его как досадную мелочь, без которой мне было бы легче жить (несмотря на то, что благодаря этому имени, как меня однажды осенило, мои инициалы совпадают с инициалами Чарльза Роберта Дарвина[1 - С. R. D.: Clinton Richard Dawkins и Charles Robert Darwin. – Здесь и далее, если не указано иное, звездочками отмечены примечания переводчика.])). Но никто, увы, не предвидел неприятностей, связанных с требованиями министерства внутренней безопасности США. Для него оказалось недостаточным сканировать нашу обувь и нормировать объем ввозимой зубной пасты – оно предписало всем въезжающим в страну путешествовать под своим первым именем, точно так, как оно записано в паспорте. Поэтому, покупая билеты в Штаты, мне пришлось отказаться от своего привычного имени Ричард и выступить под псевдонимом

Клинтон Р. Докинз. Этот псевдоним, разумеется, нужно было использовать и при заполнении некоторых важных анкет, как, к примеру, та, в которой от вас требуют однозначно опровергнуть, что вы приехали в США для вооруженного свержения конституционного строя. (Британский телеведущий Гилберт Хардинг в свое время написал: “Это единственная цель моего визита”, хотя в наши дни за такие шуточки можно угодить за решетку.)

Итак, в свидетельстве о рождении и паспорте я записан как Клинтон Ричард Докинз, а моего отца звали Клинтон Джон Докинз. Так случилось, что он был не единственным К. Докинзом, упомянутым в “Таймс” в связи с тем, что в марте 1947 года в частной больнице Эскотин в Найроби у него родился сын. Другим был преподобный Катберт Докинз, англиканский миссионер и нам не родственник. Моя мать была озадачена потоком поздравлений, которые стали приходить из Англии от епископов и других духовных лиц, ей незнакомых, но любезно призывавших Божье благословение на ее новорожденного сына. Не знаю, помогли ли мне благословения, направленные не по адресу и предназначавшиеся сыну Катберта, но он пошел по стопам своего отца и стал миссионером, а я пошел по стопам своего и стал биологом. Мама до сих пор шутит, что нас могли перепутать в роддоме. Меня радует, что далеко не только внешнее сходство с отцом убеждает меня, что я все-таки его сын и не был предназначен для церковной стези.

Имя Клинтон впервые стало родовым именем Докинзов, когда мой прапрапрадед Генри Докинз (1765–1852) женился на Огасте, дочери сэра Генри Клинтона (1738–1795), генерала и главнокомандующего британских вооруженных сил в 1778–1782 годах, на котором лежит часть ответственности за поражение Великобритании в Войне за независимость США. Учитывая обстоятельства этой женитьбы, со стороны Докинзов казалось довольно дерзким присвоить себе имя Клинтона в качестве родового. Вот что записано о женитьбе в хрониках улицы Грейт-Портленд, на которой жил генерал Клинтон:

В 1788 году его дочь сбежала с этой улицы в наемном экипаже с мистером Докинзом, который избавился от погони, послав полдюжины других наемных экипажей от разных углов улицы со стороны Портленд-плейс с указаниями ехать как можно быстрее в разных направлениях...[2 - Н. В. Wheatley, P. Cunningham. London Past and Present (London: Murray, 1891), vol. 1, p. 109. Здесь и далее цифрами отмечены примечания автора.]

Мне хотелось бы притязать на то, что это украшение нашего фамильного герба послужило источником вдохновения для Стивена Ликока, чей лорд Рональд "...бросился на своего коня и сумасшедшим галопом ускакал во все стороны"[3 - Стивен Ликок. Гувернантка Гертруда, или Простодушие семнадцатилетней. Пер. с англ. А. Вышемирского.]. Мне также хотелось бы думать, что я унаследовал от Генри Докинза часть его находчивости, не говоря уже о его пылкости. Однако это маловероятно, поскольку мне досталась от него лишь 1/32 моего генома. От генерала Клинтонна мне досталась 1/64, и никаких военных наклонностей я никогда не проявлял. "Тэсс из рода д'Эрбервиллей", "Собака Баскервилей" и многие другие художественные произведения описывают наследственные "атавизмы", доставшиеся от далеких предков, не учитывая, что доля общих с предком генов уменьшается вдвое с каждым поколением и, таким образом, снижается экспоненциально (точнее, снижалась бы экспоненциально, если бы не родственные браки, которых оказывается тем больше, чем более далеких родственников мы учитываем, так что все мы приходимся друг другу в той или иной степени родней).

Примечательно, что если бы мы отправились на машине времени в достаточно далекое прошлое, то все люди, которых мы бы там встретили, при условии, что у них вообще остались в наше время потомки, были бы предками всех живущих сегодня людей. В этом можно удостовериться, не вставая с места. Если двигаться назад во времени, настанет момент, когда любой человек будет предком либо всех, либо никого из людей, живущих в 2013 году[4 - Год выхода английского издания этой книги.]. Если воспользоваться методом доказательства от противного, который так любят математики, можно убедиться, что это же должно относиться и к тем девонским рыбам, от которых мы произошли (моя рыба-предок должна быть той же самой, что и ваша, потому что в противном случае получалось бы, что потомки моей рыбы целомудренно воздерживались от связей с потомками вашей и все же за 300 миллионов лет сохранили способность иметь от них детей). Вопрос только в том, как далеко нужно обратиться назад во времени, чтобы начало выполняться это условие. Ясно, что для этого не обязательно возвращаться к нашим девонским прародителям – так к кому же необходимо вернуться? Не буду утомлять вас подробными расчетами, но сообщу, что если королева Елизавета II – потомок Вильгельма Завоевателя, то и вы, вполне вероятно, его потомок (мне, например, если закрыть глаза на возможных незаконнорожденных предков, точно известно, что я его потомок, как известно это почти всем, кто знает свое генеалогическое древо).

Сын Генри и Огасты – Клинтон Джордж Огастес Докинз (1808–1871) – был одним из немногих Докинзов, действительно пользовавшихся именем Клинтон. Если он и унаследовал от своего отца что-то вроде его пылкости, то чуть не лишился ее в 1849 году в ходе артобстрела австрийскими войсками Венеции, где служил британским консулом. У меня хранится пушечное ядро, установленное на подставке с надписью на латунной табличке. Не знаю, кто автор выгравированных на ней слов и насколько они достоверны, но если уж зашла о них речь, то вот они в моем переводе (с французского, который был тогда языком дипломатии):

Однажды ночью, когда он лежал в своей постели, его одеяло было пробито пушечным ядром, которое прошло у него между ног, но, по счастью, не нанесло серьезных травм. Поначалу я считал эту историю выдумкой, пока не убедился, что это чистая правда. Когда его швейцарский коллега встретился с ним впоследствии на похоронах американского консула и спросил об этом случае, тот со смехом подтвердил, что так и было, и сообщил, что именно поэтому теперь хромает.

Детородные органы моего предка едва не погибли от ядра задолго до того, как он применил их по назначению, и было бы забавно считать, что я обязан своим существованием лишь счастливой баллистической случайности: что, если бы ядро прошло на несколько дюймов ближе к развилке шекспировской редьки?[5 - Слова Фальстафа из второй части “Генриха IV”: “...а когда он раздевался, он напоминал двухвостую редьку-раскоряку с пририсованной сверху головой” (пер. Б. Пастернака).] Но на самом деле своим существованием и я, и вы, и кто угодно другой обязан куда более внушительной череде счастливых случайностей, связанных с точным временем и местом всех событий с момента возникновения Вселенной. Казус с пушечным ядром – лишь одно из ярких проявлений общей закономерности. В свое время я сформулировал это так: если бы второй динозавр слева от высокого саговника не чихнул и сумел поймать похожего на землеройку крошечного предка всех млекопитающих, никого из нас не было бы на свете. Мы все можем считать свое существование совершенно невероятным. И все же мы существуем, как некое ретроспективное чудо.

Сын Клинтона Джорджа Огастеса Докинза, пощаженного пушечным ядром, Клинтон (впоследствии – сэр Клинтон) Эдвард Докинз (1859–1905) был одним из многих Докинзов, учившихся в Баллиол-колледже Оксфордского университета.

Именно в те годы преподаватели и студенты Баллиол-колледжа были увековечены в стихах, напечатанных в 1881 году на листе большого формата, озаглавленном “Маскарад в Баллиоле”. В весенний семестр того года семеро студентов колледжа сочинили и опубликовали серию язвительных эпиграмм на разных людей, связанных с Баллиолом. Самая знаменитая из них посвящена выдающемуся мастеру[6 - Мастер (master) – глава некоторых колледжей в Оксфорде и ряде других университетов.] колледжа Бенджамину Джауэтту и принадлежит перу Генри Чарльза Бичинга, ставшего впоследствии деканом Нориджского собора:

Знаю я, хоть знаний нет:

Я здесь главный, Джауэтт.

Все мне ведомо заранее,

Что не знаю, то не знания[7 - Перевод стихотворений выполнен Петром Петровым, если не указано иное. – Прим. ред.].

Клинтону Эдварду Докинзу посвящена не столь остроумная, но интригующая меня эпиграмма:

Докинз – господин речистый,

Как и все позитивисты.

Бог им – прошлогодний снег,

С большой буквы – Человек.

В викторианскую эпоху вольнодумцы встречались далеко не так часто, и мне жаль, что я не успел родиться при жизни своего двоюродного прадеда Клинтон (хотя ребенком я застал бывших уже в весьма почтенном возрасте двух его младших сестер, одна из которых называла своих служанок по фамилиям – Джонсон и Харрис, – что, помнится, меня удивляло). И в чем, интересно, проявлялась его речистость?

Должно быть, именно сэр Клинтон впоследствии оплачивал обучение моего деда, а своего племянника Клинтон Джорджа Ивлина Докинза в Баллиоле, где тот занимался, кажется, преимущественно греблей. На одной из фотографий, замечательно передающей дух Оксфорда эдвардианской эпохи в разгар лета

(см. вставку), запечатлен мой дед, готовящийся к началу соревнования по гребле. Сцена, которую мы видим, как будто сошла со страниц романа Макса Бирбома “Зулейка Добсон”. Зрители в шляпах стоят на палубе баржи, принадлежащей колледжу и служащей плавучим навесом для лодок. Кое-кто еще помнит времена, когда в распоряжении гребцов каждого колледжа была такая баржа. Увы, теперь их заменили добротными кирпичными навесами на берегу. (Одна или две баржи еще остались на плаву – или хотя бы на мели – и теперь служат плавучими домами отдыха в речных заводях в окрестностях Оксфорда, среди камышниц и чомг.) Деда трудно не узнать, так похожи на него двое его сыновей: мой отец и мой дядя Кольтер. Меня всегда увлекало семейное сходство, хотя оно и быстро исчезает с приходом новых поколений.

Мой дед был патриотом Баллиола и сумел задержаться там намного дольше обычного срока (подозреваю, что исключительно ради гребли). Когда я навещал его, уже сам будучи студентом, колледж был основной темой наших разговоров, и дед неоднократно спрашивал меня, по-прежнему ли у нас в ходу сленг эдвардианских времен (и я неоднократно вынужден был отвечать, что нет): Muggers вместо Masters, wagger ragger вместо wastepaper basket (“корзина для бумаг”), Maggers’ Memogger вместо Martyrs’ Memorial (Мемориал мучеников – известный памятник в виде креста, установленный перед Баллиолом в честь трех англиканских епископов, сожженных заживо в Оксфорде в 1555 году за приверженность неправильной разновидности христианства).

Одно из моих последних воспоминаний о дедушке связано с ежегодным обедом выпускников Баллиола (на котором каждый раз чествуют выпуск определенного года), куда я сам его привел. Когда он оказался среди старых товарищей, передвигавшихся с помощью ходунков и увешанных слуховыми рожками и пенсне, один из них узнал его и воскликнул с нескрываемым сарказмом: “Привет, Докинз! Ты еще не завязал с греблей?” Мой дед выглядел немного потерянным, когда я оставил его в кругу этих древних старцев, в числе которых наверняка были и ветераны Англо-бурской войны, то есть именно те, кому Хилэр Беллок посвятил свое знаменитое стихотворение “Тем сынам Баллиола, кто еще в Африке”:

В те годы, когда я был в Баллиоле,

Сыны Баллиола, и я в их числе,

Переплывали реки зимою,

Боролись в жару на горячей земле.
Мы носим его с той поры в своем сердце,
Когда он, еще не раскрывшийся нам,
Но всеми уже беззаветно любимый,
К себе призвал нас и выбрал сам.
Он был нам домом и дал оружие:
Скитальца сердце, ребенка взор,
Уменье смеяться в зубах мироздания
И жажду смотреть на опасность в упор.

Я создан, я вскормлен, возвращен Баллиолом,
И он нам, и мы ему были нужны.
Мы стали собою, пройдя его школу.
Бог помощь всем вам, Баллиола сыны!

Мне было непросто читать эти строки в 2011 году на похоронах своего отца и в 2012 году на Всемирном съезде атеистов в Мельбурне, где я выступал с речью памяти Кристофера Хитченса, еще одного сына Баллиола. Непросто потому, что даже в более радостных ситуациях, когда я читаю любимые стихи, у меня до обидного легко наворачиваются слезы на глаза, а это стихотворение Беллока для меня одно из самых слезоточивых.

Покинув Баллиол, мой дедушка, как и многие другие представители нашей семьи, сделал себе карьеру на службе в колониальной администрации. Он стал хранителем лесов одного из районов Бирмы, где провел немало времени в отдаленных уголках лесного массива, надзирая на лесозаготовках за тяжелой работой отлично выдрессированных слонов. Где-то в глуши тиковых деревьев он был и в 1921 году, когда получил известие (доставленное бегуном с расщепленной палкой – по крайней мере, в моем воображении это выглядит так) о рождении его младшего сына Кольера (названного в честь леди Джулианы Кольер, матери предприимчивого Генри, с которым сбежала Огаста Клинтон). Он был так взволнован, что не стал дожидаться транспорта и преодолел 50 миль,

отделявших его от жены Энид, на велосипеде. Увидев новорожденного, он с гордостью заключил, что у мальчика “докинзовский нос”. Специалисты по эволюционной психологии давно заметили, что сходству с отцом уделяется больше внимания, чем сходству с матерью, очевидно в связи с тем, что отцовство может вызывать куда больше сомнений, чем материнство.

Кольер был младшим, а Джон (мой отец) – старшим из трех братьев. Все они родились в Бирме и в детстве передвигались по джунглям в плетеных детских кроватках-корзинках, подвешенных к палкам, которые закреплялись на плечах верных носильщиков. Впоследствии все трое пошли по стопам отца и тоже стали работать в колониальной службе, но уже не в Бирме, а в трех разных частях Африки: Джон – в Ньясаленде (теперь Малави), средний брат Билл – в Сьерра-Леоне, а Кольер – в Уганде. Билл был крещен как Артур Фрэнсис – в честь обоих своих дедушек, но его всегда звали Биллом, поскольку в детстве он напоминал ящерицу Билла из “Алисы в Стране чудес”. Джон и Кольер в молодости были так похожи, что Джона однажды остановили на улице и спросили: “Это вы или ваш брат?” (То был реальный случай, чего, по-видимому, нельзя сказать о знаменитой истории про Уильяма Арчибалда Спунера, единственного директора моего нынешнего оксфордского колледжа, чье имя удостоилось собственного “изма”[8 - Спунеризм – оговорка или игра слов, при которой слова “обмениваются” соответствующими звуками или частями (“нельзя ли у трамвала вокзай остановить” и т. п.)]: рассказывают, будто, встретив во дворе колледжа одного молодого человека, Спунер спросил его: “Слушайте, я никак не запомню, кто из вас погиб на войне, вы или ваш брат?”) С возрастом, как мне кажется, больше походить друг на друга (и на своего отца) стали Билл и Кольер, а Джон все сильнее отличался от них. Я интересуюсь семейным сходством, в частности, и по этой причине: оно нередко возникает и пропадает с годами. Не стоит забывать, что действие генов можно наблюдать на протяжении всей жизни, а не только в ходе развития зародыша.

У трех братьев не было ни одной сестры, к огорчению моих бабушки и дедушки, которым хотелось назвать своего младшего ребенка Джулианой в честь леди Джулианы Кольер, – и в итоге пришлось дать младшему сыну имя по ее благородной фамилии. Все три брата оказались одаренными людьми. Самым успешным в учебе был Кольер, а самым спортивным – Билл: обучаясь впоследствии в той же школе, что и он, я с гордостью нашел его имя в списке лучших учеников, где Билл значился рекордсменом школы по бегу на сто ярдов. Способности бегуна на короткие дистанции пригодились ему впоследствии при игре в регби и в начале Второй мировой войны помогли заработать для армейской команды впечатляющий тагдаун в игре против британской

национальной сборной. Мне не досталось ничего от спортивных способностей дяди Билла, но зато приятно думать, что научному мышлению я научился у отца, а умению доходчиво излагать научные данные – у дяди Кольера. Вернувшись в Англию из Уганды, Кольер стал работать в Оксфорде, где преподавал статистику биологам и добился блестящих успехов в этом непростом деле. Он умер слишком рано, и одна из моих книг – “Река, текущая из рая” – открывается следующим посвящением:

Памяти Генри Кольера Докинза (1921–1992), сотрудника Сент-Джонс-колледжа Оксфордского университета и большого мастера понятно объяснять.

Первым умер младший брат, а последним – старший. Мне очень не хватает их всех. Когда в 2009 году в возрасте 93 лет скончался мой дядя и крестный отец Билл, я произнес речь на его похоронах[9 - См. онлайнное приложение к этой книге: <https://richarddawkins.net/afw/> (<https://richarddawkins.net/afw/>)]. В этой речи я попытался донести до слушателей, что, хотя в службе британской колониальной администрации было много плохого, лучшее в ней было поистине очень хорошим и Билл, как и оба его брата, а также Дик Кеттлуэлл, о котором здесь еще пойдет речь[10 - И о котором я написал некролог (см. то же онлайнное приложение).], были представителями этого лучшего.

Выбрав работу в колониальной службе, трое братьев пошли по стопам не только отца, но и родни по материнской линии. Их дед со стороны матери, Артур Смитис, был главным хранителем лесов одного из районов Индии, а его сын Ивлин стал главным хранителем лесов Непала. Именно Ивлин, с которым мой дед подружился, когда они оба изучали лесоводство в Оксфорде, познакомил его со своей сестрой Энид, ставшей впоследствии женой деда. Ивлин Смитис был автором известной монографии “Лесные богатства Индии” (1925), а также нескольких классических трудов по филателии. Его жена Олив, как это ни грустно, любила охотиться на тигров и опубликовала книгу под названием “Тигриная леди”. На одной из фотографий она стоит в пробковом шлеме на труп тигра, а ее муж с гордостью похлопывает супругу по плечу. Подпись гласит: “Молодец, женушка!” Не думаю, что мне понравилась бы эта дама.

Неразговорчивый двоюродный брат моего отца Бертрам (Билли) Смитис, старший сын Олив и Ивлины, тоже работал в лесном хозяйстве – в Бирме, а затем в Сараваке – и написал два классических труда по орнитологии: “Птицы Бирмы”

и “Птицы Борнео”. Последняя книга стала чем-то вроде библии для писателя-путешественника Редмонда О’Хэнлона (который, напротив, вовсе не отличался неразговорчивостью) в ходе его совместного с поэтом Джеймсом Фентоном путешествия, с юмором описанного в издании “К сердцу Борнео”.

Младший брат Бертрама Джон Смитис отступил от семейной традиции и стал выдающимся исследователем в области нейронауки, специалистом по шизофрении и психоделическим препаратам. Живя в Калифорнии, именно он, как считается, вдохновил в свое время Олдоса Хаксли на эксперименты с мескалином и прочищение “дверей восприятия”. Я недавно обратился к нему за советом, принимать ли любезное предложение одного моего друга попробовать под его присмотром ЛСД, и получил совет не делать этого. Другой двоюродный брат моего отца – Йорик Смитис – был преданным учеником философа Витгенштейна, записавшим многое с его слов[11 - <http://wittgensteinrepository.org/agora-alws/article/view/2448/2620> (<http://wittgensteinrepository.org/agora-alws/article/view/2448/2620>).]. Питер Конради утверждает в биографии писательницы Айрис Мёрдок, что именно Йорик послужил прототипом “доморощенного философа” Хьюго Белфаундера, персонажа ее романа “Под сетью”, но я должен сказать, что найти сходство между Йориком и Хьюго не так уж просто.

Йорик хотел стать кондуктором в автобусе, но, как отмечает писательница, оказался единственным человеком в истории автобусной компании, не сумевшим сдать даже теорию. <...> Инструктор отказался продолжать первый и единственный для Йорика урок вождения и вышел из машины, увидев, как тот раз за разом заезжает на тротуар.

Не сумев выучиться на кондуктора и отказавшись по совету Витгенштейна (как и большинство других его учеников) от профессиональных занятий философией, Йорик устроился библиотекарем на отделение лесоводства Оксфордского университета. Этим, вероятно, и ограничилась его связь с семейной традицией. Он был эксцентричным человеком, пристрастился к нюхательному табаку и католицизму и впоследствии трагически погиб.

Артур Смитис, дед двоюродных братьев Докинзов и Смитисов, стал, по-видимому, первым представителем нашей семьи, работавшим в Британской империи на государственной службе. Все его предки по отцовской линии,

начиная с прапрапрапрадеда, преподобного Уильяма Смитиса, родившегося в 1635 году, в течение шести поколений были англиканскими священниками. Вполне вероятно, что, живи я в те времена, я тоже мог бы стать священником. Меня всегда интересовали те глубинные вопросы бытия, на которые религия пытается дать ответ (хотя и безуспешно), но, по счастью, я живу в век, когда на такие вопросы даются научные ответы, не отсылающие к сверхъестественному. Сам мой интерес к биологии связан преимущественно с увлечением проблемами происхождения и природы жизни, а не с любовью к естествознанию, как у большинства молодых биологов, которых мне доводилось учить. В каком-то смысле я даже предал семейную традицию посвящать жизнь полевой работе и непосредственному изучению природы. В кратких воспоминаниях, опубликованных в свое время в антологии автобиографических очерков этологов, я писал:

Я должен был стать юным натуралистом. У меня были для этого все основания: не только идеальная первозданная среда тропической Африки, но предположительно и гены, идеально подходящие для ее увлеченного изучения. Загорелые ноги Докинзов нескольких поколений шагали в шортах цвета хаки по джунглям Британской империи. Подобно своему отцу и двум его младшим братьям, я чуть ли не родился с пробковым шлемом на голове [12 - Growing up in ethology, chapter 8 // L. Drickamer, D. Dewsbury, eds. Leaders in Animal Behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.].

Надо сказать, что, когда дядя Кольер впервые увидел меня в шортах (сам он регулярно ходил в таких же штанах, но поддерживаемых двумя ремнями), он воскликнул: “Боже, да у тебя настоящие докинзовские коленки!” Как я писал в тех же воспоминаниях про дядю Кольера, худшее, что он мог сказать про молодого человека, было:

“За всю жизнь ни разу не побывал на молодежной турбазе”. Вынужден признать, что эти слова осуждения по-прежнему относятся и ко мне. Можно сказать, что я с юных лет предал традиции своей семьи.

Родители всячески поощряли мой интерес к живой природе. Они знали все цветы, которые можно найти и на обрывистых берегах Корнуолла, и на альпийских лугах, а отец дополнительно развлекал нас с сестрой, называя эти

растения по-латыни (дети обожают звучание слов, даже если не понимают их смысла). Вскоре после переезда в Англию я испытал настоящее унижение, когда мой дед, высокий, красивый джентльмен, к тому времени вышедший на пенсию и вернувшийся из лесов Бирмы, указал мне на синицу-лазоревку за окном и спросил, знаю ли я, кто это. Я не знал и позорно пробормотал: “Зяблик?” Дед был возмущен. В семье Докинзов такое невежество было равносильно незнанию, кто такой Шекспир. “Боже мой, Джон, – я никогда не забуду ни этих слов деда, ни слов оправдания, тут же сказанных моим отцом, – неужели это возможно?”

Справедливости ради нужно заметить, что тогда я только-только впервые ступил на землю Англии и что ни лазоревки, ни зяблики не встречаются в Восточной Африке. Но так или иначе, я поздно увлекся наблюдением за животными в природе и никогда не стал таким же любителем полей, как мои отец и дед. Вот что произошло вместо этого:

Я стал тайным читателем. Приезжая на каникулы из интерната, я тайком пробирался к себе в спальню с книжкой, постыдно игнорируя подходящие мне прогулки на свежем воздухе, в полях. И когда я всерьез стал изучать биологию в школе, меня привлекал к ней все тот же книжный интерес. Я задавался вопросами, которые взрослые называли бы философскими. В чем смысл жизни? Откуда мы взялись? С чего все началось?

Семья моей матери родом из Корнуолла. Моя бабушка по материнской линии, Конни Уэрн, родилась в семье потомственных врачей: ее отец, дед и прадед принимали пациентов в городе Хелстоне (в детстве я представлял себе их всех как доктора Ливси из “Острова сокровищ”). Она была убежденной патриоткой Корнуолла, называла англичан иностранцами и жалела, что родилась слишком поздно, чтобы говорить на ныне вымершем корнском языке, но рассказывала мне, что в годы ее детства старые рыбаки из Маллиона могли понимать бретонских рыбаков, “приплывавших таскать наших крабов”. Бриттские языки – валлийский (живой), бретонский (вымирающий) и корнский (мертвый) – представляют собой сестринские виды на эволюционном древе языков. Некоторые корнские слова сохранились в корнуолльском диалекте английского, например *quilkin* вместо *frog* (“лягушка”). Бабушка неплохо владела этим диалектом, и мы, ее внуки, регулярно уговаривали ее читать нам наизусть восхитительный корнуолльский стишок про мальчика, проглотившего сливовую косточку. Однажды я даже записал ее декламацию на магнитофон, но запись

впоследствии куда-то потерялась, о чем я горько сожалею. Через много лет Гугл помог мне найти это стихотворение[13 - Из книги: Randigal Rhymes, ed. Joseph Thomas. Penzance: F. Rodda, 1895.], и, читая его, я живо вспоминаю, как бабушка произносила его строфы своим скрипучим голосом.

Такой поднялся шум и гам, что и представить тяжело,

Когда сын Бена Трембы взял и проглотил костяшку[14 - Слово bully на корнуолльском диалекте означает гальку, но бабушка говорила, что имеется в виду сливовая косточка, – и это логичнее.].

Добро бы вовсе проглотил, со многими бывало:

Костяшка в горло не прошла и в глубине застряла.

Парнишка выпучил глаза, затопал во всю мочь,

Сбежались люди, но никто не знает, чем помочь.

Тут Мэлли Джендалл раньше всех на выручку поспела,

Как Джимми Иллис меж котов[15 - Местная поговорка.], всех лучше знает дело.

Покуда бедный паренек выплясывал чечетку,

Она его за челку хватать и влезла пальцем в глотку.

Да только он захлопнул рот и палец сжал зубами!

Завыла бедная, как зверь, не передать словами.

Никто не знал, что делать с ним, все трусили отменно.

Один сказал: “Тут кувырок помог бы непременно”,

Другой за зельем побежал, а тот, жуя петрушку,

Рассказ о мальчике повел, что проглотил лягушку.

А кто-то головой качал и говорил в печали:

“Добром не кончит мальчуган, давно мы это знали.

Он птичьи гнезда разорял, любил играть в орлянку

И как-то кошке привязал к хвосту пустую банку”.

Но тут Большой явился Джим и говорит: “Эх вы!

Всему-то надо вас учить, ни рук, ни головы!”

Дал подзатыльник пареньку, не тратя слов на спор,

Костяшка вылетела вон, и кончен разговор.

Везуч был этот мальчуган и проживет сто лет,

Везуч – коль у него во рту другой костяшки нет!

Меня давно увлекает эволюция языков и дивергенция местных форм языка, которые постепенно превращаются в диалекты, такие как корнуолльский и джорди, а затем незаметно расходятся все дальше и становятся отдельными языками, как, к примеру, немецкий и голландский, каждый из которых, несмотря на явное родство, непонятен носителям другого. Здесь напрашивается аналогия с генетической эволюцией, которая о многом говорит, но при этом способна ввести в заблуждение. Когда две популяции дивергируют, становясь разными видами, точкой их разделения на два вида считается момент, когда они теряют способность скрещиваться друг с другом. Я предлагаю считать точкой разделения двух диалектов на два языка тот аналогичный переломный момент, когда попытка носителя одного из них говорить на другом начинает восприниматься как комплимент, а не как оскорбление. Если бы я пришел в паб в Пензансе и попытался говорить на корнуолльском диалекте английского, это могло бы для меня плохо закончиться, поскольку корнцы подумали бы, что я их передразниваю. Но если я поеду в Германию и попытаюсь там говорить по-немецки, немцы только обрадуются. Немецкий и английский дивергировали достаточно долго. Если мое предположение верно, то где-то (быть может, в Скандинавии?) должны быть примеры диалектов, находящихся на грани превращения в разные языки. Я ездил недавно с лекциями в Стокгольм, где меня пригласили на ток-шоу, которое показывали по телевизору как в Швеции, так и в Норвегии. Ведущий и некоторые из гостей были норвежцами, и мне сказали, что телезрители обеих стран без труда понимают и шведский, и норвежский. Что же касается датского, то его большинство шведов понимает с трудом. В соответствии с моей теорией можно ожидать, что шведу, приехавшему в Норвегию, скорее всего, не стоит пытаться говорить по-норвежски, чтобы ненароком никого не оскорбить, но шведа, приехавшего в Данию и пытающегося говорить по-датски, примут там на ура[16 - Я проконсультировался по этому

поводу с профессором Бьёрном Меландером, специалистом по скандинавским языкам, и он согласился с моей теорией “оскорбления или лестии”, но добавил, что ситуация неизбежно осложняется особенностями контекста.].

Когда умер мой прапрадед доктор Уолтер Уэрн, его вдова переехала из Хелстона на полуостров Лизард, где построила дом на западном берегу с видом на бухту Маллион. Этот дом по-прежнему принадлежит нашей семье. От бухты Маллион по очаровательной дороге, проложенной над обрывом среди цветущих армерий, можно дойти до мыса Полдью, откуда Гульельмо Маркони в 1901 году впервые осуществил радиосвязь через Атлантику, передав азбукой Морзе многократно повторенную букву S. Неужели же по столь знаменательному поводу нельзя было сказать ничего более интересного, чем “s s s s s s”?

Мой дедушка по материнской линии, Алан Уилфред (Билл) Лэднер, тоже был корнцем и работал в компании Маркони радиоинженером. Он устроился на эту работу слишком поздно, чтобы принять участие в вышеупомянутом сеансе трансатлантической связи в 1901 году, но примерно в 1913 году, незадолго до Первой мировой, его направили на ту самую радиостанцию на мысе Полдью. В 1933 году, когда радиостанция была демонтирована, старшая сестра моей бабушки, Этель (которую моя мама называла просто “тетя”, хотя у нее были и другие тети), смогла забрать оттуда часть больших сланцевых плит, использовавшихся в качестве основы приборных панелей. О способе применения плит напоминают просверленные в них отверстия – ископаемые остатки былых технологий. Теперь этими плитами вымощены дорожки в саду нашего семейного дома в Маллионе (см. вставку). В детстве они вызывали у меня восхищение почетной профессией моего дедушки – профессией инженера, чтимой в Британии меньше, чем во многих других странах. Возможно, с этим отчасти связан прискорбный упадок моей страны, некогда великой промышленной державы, сделавшейся жалким поставщиком “финансовых услуг” (к тому же часто ненадежных, что мы с грустью вынуждены констатировать).

До того как Маркони провел свой исторический сеанс связи, считалось, что расстояние, на которое можно передавать радиосигналы, ограничено кривизной поверхности Земли. Разве можно поймать за горизонтом волны, распространяющиеся по прямой? Однако выяснилось, что радиоволны могут отражаться от слоя Хевисайда – одного из верхних слоев атмосферы (современные радиосигналы отражаются прежде всего от искусственных спутников). Я горжусь тем, что книга моего дедушки “Коротковолновая радиосвязь” неоднократно переиздавалась с 1930-х до начала 1950-х годов и

служила основным учебником по этому предмету до тех пор, пока на смену электронным лампам не пришли транзисторы.

В нашей семье издавна считалось, что ничего понять в этой книге невозможно, но я только что прочитал первые две страницы и убедился, что написана она весьма доходчиво.

Идеальный передатчик производил бы электрический сигнал, который был бы точной копией вводимого сигнала, и передавал бы его на соединительное звено в абсолютно неизменном виде, не вызывая при этом никаких помех на других каналах. Идеальное соединительное звено позволяло бы передавать по нему или через него электрические импульсы без каких-либо искажений и без затухания и не собирало бы в ходе такой передачи “шумы”, связанные с внешними электрическими возмущениями какого-либо рода. Идеальный приемник улавливал бы нужные электрические импульсы, посылаемые по соединительному звену передатчиком, и абсолютно точно преобразовывал бы их в нужную для зрительного или слухового восприятия форму. <...> Поскольку крайне маловероятно, что идеальные средства связи будут когда-либо разработаны, необходимо разобраться в том, чем лучше жертвовать в поисках компромиссных решений.

Прости меня, дедушка, прости, что у меня отбили желание читать твою книгу в те времена, когда ты еще был с нами и с тобой можно было о ней поговорить, а я был уже достаточно взрослым, чтобы в ней разобраться, но не стал и пытаться. Тебя самого отношение родных к твоей работе убедило, что незачем с нами делиться обширными знаниями, которые наверняка по-прежнему хранились в твоей умной голове. Стоило кому-то заговорить с тобой о радио, ты отвечал: “Нет, про радио я ничего не знаю” и продолжал насвистывать под нос нескончаемые мелодии из оперетт. Как бы мне хотелось поговорить с тобой теперь о Клоде Шенноне и теории информации, показать тебе, как те же принципы связи управляют коммуникацией пчел, птиц и даже нейронов у нас в мозгу. Как бы мне хотелось, чтобы ты рассказал мне о преобразованиях Фурье и вспомнил что-нибудь о профессоре Сильванусе Томпсоне, авторе книги “Математический анализ в доступном изложении” (“Что может один дурак, может и другой”). Сколько упущенных возможностей, упущенных безвозвратно! Как недаленовидно, как глупо с моей стороны! Прости меня, тень радиоинженера Алана Уилфреда Лэднера, моего дорогого дедушки!

И при этом конструировать в юности радиоприемники меня научил не дедушка-радиоинженер, а дядя Кольтер. Он подарил мне книгу Фредерика Джеймса Кэмма, с помощью которой я вначале изготовил детекторный приемник (работавший очень хило), а затем одностранзисторный, с большим ярко-красным транзистором, работавший немного лучше, но все же требовавший наушников, а не репродуктора. Сделан он был невероятно плохо. Я не только не пытался аккуратно провести провода, прикрепляя их к деревянной панели скобами, но даже радовался тому, что, как бы неаккуратно они ни располагались, это не имело значения, если каждый из них заканчивался там, где надо. Не то чтобы я специально проводил каждый провод как можно неаккуратнее, но меня по-настоящему увлекало несоответствие между топологией проводов, от которой все зависело, и их непосредственным расположением, от которого не зависело ничего. Плод моих трудов был полной противоположностью современным интегральным микросхемам. Много лет спустя, когда я читал в Королевском институте рождественские лекции для детей примерно того самого возраста, в котором я изготовил свой одностранзисторный приемник, я продемонстрировал им сильно увеличенный чертеж интегральной микросхемы, позаимствованный у современной компьютерной фирмы. Надеюсь, этот чертеж поразил и немного озадачил моих юных слушателей. Эксперименты эмбриологов показали, что растущие нервные клетки могут “вынюхивать” органы, до которых они должны дотянуться, и часто прокладывают к ним дорогу примерно так, как были проложены провода в моем приемнике, а не в соответствии со строгим планом, как в интегральной микросхеме.

Но вернемся в Корнуолл перед Первой мировой войной. Моя прабабушка завела обычай приглашать к себе в Маллион на чай одиноких молодых инженеров с радиостанции на мысу. Именно так познакомились мои дедушка и бабушка. Они были уже помолвлены, когда разразилась война. Радиоинженеры были востребованы на фронте, и храброго молодого офицера Билла Лэднера направили на южную оконечность тогдашнего Цейлона строить радиостанцию на этом стратегически важном перевалочном пункте морских путей Британской империи.

Конни последовала за ним в 1915 году и остановилась в доме местного священника, который их и обвенчал. Моя мать, Джин Мэри Вивиан Лэднер, родилась в Коломбо в 1916 году.

В 1919 году, когда война закончилась, Билл Лэднер привез свою семью обратно в Англию, но не в Корнуолл на самом западе страны, а в Эссекс на востоке, где в

городе Челмсфорде располагалась штаб-квартира компании Маркони. В Челмсфорде дедушка занимался обучением будущих инженеров в колледже Маркони, который он впоследствии возглавил. Он считался очень хорошим преподавателем. Поначалу семья жила в самом Челмсфорде, но вскоре переехала на окраину обширной деревни Литтл-Бэддоу в окрестностях Челмсфорда, в очаровательный длинный дом XVI века под названием Уотер-Холл.

В Литтл-Бэддоу с моим дедушкой произошел один случай, который, по-моему, проливает свет на некоторые особенности человеческой природы. Случилось это намного позже, во время Второй мировой войны. Дедушка ехал на велосипеде и увидел, как над его головой пролетел немецкий бомбардировщик и сбросил бомбу (экипажи бомбардировщиков обеих воевавших сторон, если им не удавалось найти заданную цель в городе, иногда сбрасывали бомбы в сельской местности, чтобы не возвращаться на базу со снарядами на борту). Дедушка неправильно определил, где упала бомба, и поначалу в отчаянии подумал, что она попала в Уотер-Холл и убила его жену и дочь. Судя по всему, паника вызвала у него атавистическую реакцию перехода к более древней форме поведения: он спрыгнул с велосипеда, сбросил его в канаву и бежал до самого дома. Думаю, что в подобной экстремальной ситуации я и сам мог бы так поступить.

Именно в Литтл-Бэддоу, в большом доме, который назывался Хоппет (Корзинка), поселились мои дедушка и бабушка по отцовской линии, когда дедушка вышел в отставку и его семья переехала из Бирмы в Англию. Моя мать и ее младшая сестра Диана впервые услышали о юных Докинзах от подруги, которая, как в романе Джейн Остин, прибежала и поспешила сообщить о появлении в окрестностях потенциально интересных молодых людей. “В Хоппете поселились трое братьев! Младший еще маленький, средний очень неплох, а старший полный псих, все время ходит по болоту, бросает там обручи, а потом ложится на живот и смотрит на них”.

Казавшееся эксцентричным поведение моего отца на самом деле было вполне рациональным – далеко не первый и далеко не последний случай, когда в действиях ученого, не понимая их смысла, подозревали неладное. В то время он учился в магистратуре на отделении ботаники Оксфордского университета и занимался изучением статистического распределения кочек на прибрежных болотах. Для этого нужно было определять и считать растения в пределах ограниченных рамкой пробных участков болота, и стандартный метод подобных исследований предполагал бросание “обручей” (рамок) случайным образом.

Интерес моего отца к ботанике был одной из его черт, оказавшихся привлекательными для моей матери, когда она с ним познакомилась.

Увлечение ботаникой началось у Джона рано, во время каких-то школьных каникул, которые в тот раз Джон и Билл проводили у своих дедушки и бабушки Смитисов. В те времена родители, жившие в колониях, нередко отправляли своих детей, особенно сыновей, в школы-интернаты в Британии; и Джон с Биллом, когда им было семь и шесть лет соответственно, тоже были отправлены в такую школу – Чейфин-Гроув в городе Солсбери, где впоследствии учился и я. Их родители оставались в Бирме еще десять с лишним лет, и, поскольку воздушного сообщения в те годы не было, в большинстве случаев они не видели своих сыновей даже на каникулах. В итоге оба мальчика проводили каникулы в других местах: иногда в специальных пансионатах для детей сотрудников колониальной службы, а иногда в девонширской деревне Долтон у дедушки и бабушки Смитисов, часто в компании своих двоюродных братьев.

В наши дни считается, что отделять детей от родителей на столь долгий срок просто ужасно, но тогда это была довольно обычная практика, которая воспринималась как неизбежное следствие колониальной службы, а также дипломатической работы, учитывая, что поездки в дальние страны занимали много времени и стоили дорого. Детские психологи, вероятно, подозревают, что эта практика приводила к серьезным психологическим травмам. Так сложилось, что и Джон, и Билл выросли уравновешенными и приятными людьми, но вполне вероятно, что другим детям было намного сложнее справиться с тяготами жизни без родителей. Двоюродный брат Джона и Билла Йорик, как я уже говорил, был эксцентричным и, возможно, несчастным человеком. С другой стороны, он учился в Хэрроу[17 - Престижная лондонская школа, где учились многие знаменитости.], и одним этим (не говоря уже о взаимодействии со столь непростым человеком, как Витгенштейн) можно, по-видимому, объяснить все его странности.

Однажды во время таких каникул дедушка Смитис устроил для внуков конкурс: кто соберет лучшую коллекцию дикорастущих цветов, тот получит приз. Победил Джон, и его детская коллекция легла в основу его личного гербария, положив начало становлению мальчика как профессионального ботаника. Как я уже сказал, любовь к дикорастущим цветам была одной из тех черт, которые объединяли его с Джин, моей матерью. Им обоим была свойственна также любовь к удаленным безлюдным местам и нелюбовь к шумным сборищам. Брат Джона Билл и сестра Джин Диана, напротив, были любителями вечеринок (и

впоследствии тоже поженились).

В возрасте 13 лет Джона, а затем и Билла перевели из Чейфин-Гроув в колледж Мальборо в Уилтшире – одну из самых известных “публичных” (то есть частных) школ в Англии, основанную как школа для детей священников. Режим в Мальборо был спартанский. Джон Бетчман в стихотворной автобиографии назвал его жестоким, но Джон и Билл Докинзы, в отличие от поэта, по-видимому, не особенно страдали от этого режима: им он даже нравился. Но когда шесть лет спустя настала очередь Кольера, родители, вероятно неслучайно, решили отправить его в менее строгую школу Грешема в графстве Норфолк. Насколько я могу судить, Джону школа Грешема, скорее всего, тоже подошла бы больше, если не считать того, что в Мальборо работал легендарный учитель биологии Эшли Гордон (Табби) Лаундс, благодаря которому мой отец, быть может, и стал биологом. Несколько учеников Лаундса стали выдающимися учеными, в том числе зоологи Джон Янг и Питер Медавар и по меньшей мере семь членов Лондонского королевского общества. Медавар учился в Мальборо одновременно с моим отцом, и впоследствии они вместе поступили в Оксфорд: Медавар в Магдален-колледж, где специализировался в зоологии, а мой отец в Баллиол, где специализировался в ботанике. В онлайн-приложении к этой книге я воспроизвожу исторический документ – монолог Лаундса, записанный дословно моим отцом. Медавар, находившийся в той же классной комнате, наверняка тоже слышал этот монолог, интересный тем, что он отчасти предвосхищает главную идею концепции “эгоистичного гена” (хотя сам я обнаружил этот текст в тетради своего отца лишь через много лет после публикации моей книги “Эгоистичный ген”).

Получив диплом бакалавра, отец остался в Оксфорде в магистратуре, где работал над уже упомянутым исследованием болотных кочек. Для дальнейшей карьеры он остановил выбор на сельскохозяйственном отделении колониальной службы. Чтобы специализироваться в области сельского хозяйства тропических широт, ему потребовалось продолжить обучение в Кембридже (где он снимал квартиру у домовладелицы с запоминающейся фамилией – миссис Спэрроухок[18 - Sparrowhawk (англ.) – ястреб-перепелятник.]). Позже, уже после помолвки с Джин, он учился в Имперском колледже тропической агрокультуры на Тринидаде, а в 1939 году его направили в Ньясаленд (теперешнюю Малави) в должности младшего сельскохозяйственного чиновника.

Вслед за армией в Кении

Отправка Джона в Африку ускорила планы моих родителей, и 27 сентября 1939 года они обвенчались в церкви Литтл-Бэддоу. Затем Джон отправился на корабле в Кейптаун и прибыл оттуда в Ньясаленд на поезде, а Джин последовала за ним в мае 1940 года на гидросамолете “Кассиопея”. Ее путешествие не обошлось без приключений и заняло около недели: самолету требовалось совершить немало посадок для дозаправки. Одна из таких остановок оказалась в Риме, и это было страшновато, потому что Муссолини в то время колебался, вступать ли ему в войну на стороне Германии, и случись такое как раз тогда, все пассажиры “Кассиопеи” были бы арестованы и интернированы до конца войны.

Когда Джин наконец добралась до Джона, он вынужден был сообщить ей, что призван в полк Королевских африканских стрелков, базировавшийся в Кении. В распоряжении молодоженов был всего месяц совместной жизни в Ньясаленде (в течение этого месяца, судя по расчетам, я и был зачат), после чего Джону предстояло отправляться в Кению. Для прохождения подготовки Ньясалендский батальон направился туда колонной автотранспорта. Джону каким-то образом удалось получить разрешение добраться до пункта назначения на автомобиле отдельно от колонны, но разрешения взять с собой жену у него вовсе даже не было. Женам сотрудников колониальной службы в Ньясаленде было строго предписано оставаться там или ехать в Англию или Южную Африку, а не сопровождать мужей, отправленных на север, на войну. Насколько известно моей маме, она была единственной, кто не подчинился этому предписанию. Мои замечательные родители провезли ее в Кению контрабандой, из-за чего у них впоследствии возникли проблемы, о которых я еще расскажу.

Джон и Джин в компании слуги Али, преданно сопровождавшего их и впоследствии сыгравшего немалую роль в моей детской жизни, выехали в Кению 6 июля 1940 года на своем драндулете под названием “Люси Локетт” – старом “форде-универсале”. По ходу путешествия они вели общий дневник, из которого я приведу здесь несколько цитат. Родители специально выехали до выступления колонны, чтобы получить помощь в случае серьезной поломки. Это было мудрое решение, учитывая, что на первой же странице дневника упоминается, как автомобиль толкала орава мальчишек, без помощи которых он вообще не желал заводиться. Вот описание четвертого дня – после успешной покупки нескольких тыкв, из-за которых пришлось поторговаться:

По этому поводу мы все сильно развеселились, особенно оттого, что победа и тыквы остались за нами, и Джон на радостях поехал, когда Али еще не успел сесть в машину, и лишился дверцы, которая зацепилась за дерево, и ее оторвало. Было очень досадно.

Но даже досадная потеря дверцы не могла всерьез огорчить молодых людей, и все трое в приподнятом настроении продолжили свой путь на север среди страусов и смотревших свысока жирафов. По ночам они спали в машине, разводя на каждой стоянке костер, чтобы отпугивать львов и готовить вкусные рагу и пироги на самодельной печке – одном из тех остроумных устройств, которые отец любил создавать на протяжении всей своей жизни. Время от времени они встречались с колонной. Во время одной из таких встреч командир колонны,

громадный военный <...> в красной фуражке с золотым галуном, нырнул в индийскую лавку, приказав нам подождать, и вернулся оттуда с большой плиткой шоколада, которую вручил мне со словами: “Подарок маленькой девочке, поехавшей в большое путешествие!” Этот шоколад потом съел Джон.

Интересно, не хотел ли добродушный командир тем самым дать понять, что ему известно о нелегальности участия Джин в этой поездке?

Приближалась граница Кении.

Мы были готовы, как только увидим границу, спрятать меня под спальными мешками и посадить сверху Али. Но никаких признаков границы мы так и не заметили и по окончании этого совершенно чудесного и удивительного путешествия поняли, что въезжаем в Найроби и нам все сошло с рук. Джон поселил меня в гостинице “Норфолк” и поехал в свою часть – вместе с Али, который вскоре стащил где-то униформу аскари и объявил себя солдатом [19 - Термином “аскари” назывались рядовые африканцы, служившие в Королевских африканских стрелках.]. Впоследствии он показал лучшие для аскари результаты на курсах вождения и тем самым привлек к себе внимание, из-за чего Джон попал в очень неловкое положение.

Несмотря на это достижение, официально Али так и не стал солдатом, но играл при моем отце роль денщика и сопровождал его по всем лагерям подготовки, куда его направляли. Один из таких лагерей располагался в Ньери, где Джон и Али застали похороны лорда Баден-Пауэлла, основателя скаутского движения. Джона, как бывшего скаута, сделали участником похоронной процессии: он маршировал рядом с лафетом, на котором везли гроб. У меня есть фотография, на которой запечатлен этот эпизод (см. вставку), и я должен сказать, что отец смотрится очень браво в униформе Королевских африканских стрелков: шортах цвета хаки, гольфах и форменной шляпе, остатки которой, постепенно приобретающие все более жалкий вид, он носил до конца своих дней. Кстати, высокий офицер, рядом с которым он здесь марширует (не в ногу), – это лорд Эрролл из “Счастливой долины”[20 - “Счастливая долина” (Happy Valley) – поселение британских аристократов в Кении, в окрестностях города Ньери, скандально известное декадентским образом жизни поселенцев.], который вскоре был убит (история этого знаменитого убийства, официально по-прежнему считающегося нераскрытым, легла в основу фильма “Белое зло”).

Следующие три года стали для Джин временем почти постоянных переездов вслед за Джоном и жизни при армии в тех местах, куда его направляли, причем не только в Кении, но и в Уганде. Много лет спустя в своих написанных для членов семьи мемуарах она вспоминала:

В ходе своей подготовки к службе в Королевских африканских стрелках Джон очень умело находил для меня временные пристанища неподалеку от мест, куда его посылали. Я выполняла разную мелкую работу (присматривала за чьими-нибудь детьми, учительствовала в паре приготовительных школ), а иногда просто жила в съемных комнатах. Однажды, когда командир Джона получил приказ выдвигаться на штурм Аддис-Абебы, он пошутил, что им нужно поторопиться, не то Джин Докинз прибудет туда первой!

Среди множества добрых хозяев, у которых Джин жила в тот период, были доктор Макклейн и его жена. В их доме в угандском городе Джинджа Джин работала няней у их маленькой дочери, которую называли Снippet (Лоскуток).

Макклейны из Джинджи были очень добры ко мне. Я ходила за Снippet и время от времени помогала им по дому. Дома в Джиндже стояли вокруг поля для гольфа, расположенного на берегу озера, и по ночам на траве резвились бегемоты, иногда совершавшие набеги на сады. А еще те края кишели крокодилами, нежившимися в воде и гревшимися на солнце на мелководьях под самым водопадом, где я по глупости плавала на байдарке. Эти крокодилы забавно держали пасти широко раскрытыми, чтобы их маленьким друзьям-птичкам было проще чистить им зубы!

Симбиотические отношения такого рода теперь подробно описаны у рыб, живущих на коралловых рифах. В “Эгоистичном гене” я писал об этом явлении и об интересной теории, объясняющей его возникновение в ходе эволюции, но я не осознавал, пока не прочитал (намного позже) мамины воспоминания, что очень похожее поведение свойственно также крокодилам и птицам. Подозреваю, что и эволюционное объяснение здесь должно быть таким же, лучше всего описываемым математическим языком теории игр.

В тот период, когда моя мать жила у Макклейнов, у нее случился первый из многих перенесенных ей приступов малярии, которые то и дело повторялись на протяжении всех девяти лет ее жизни в Африке и стали одной из причин решения вернуться в Англию, принятого в итоге моими родителями. Мама отчетливо помнит, как однажды, уже снова в Ньясаленде после войны, когда у нее случился очередной приступ, она услышала, лежа в горячечном бреду, настойчивый голос доктора Глинна, главного врача больницы города Лилонгве: “Если срочно не позвать Джона Докинза, может оказаться слишком поздно”. Свое выздоровление она впоследствии приписывала (возможно, ошибочно) именно тому, что случайно услышала эти слова доктора, опасавшегося, что она умирает, и решила во что бы то ни стало доказать ему, что он не прав.

Однако один из первых случившихся еще у Макклейнов приступов, в котором заподозрили малярию, был в итоге объяснен совсем другим диагнозом:

В один прекрасный день доктор, человек жизнерадостный и общительный, сказал мне: “Вы, наверное, уже догадываетесь, что с вами?” Я ответила: “Малярия?” А он сказал: “Вы беременны, моя милая!” Это известие потрясло нас, но мы были рады. Теперь, вспоминая те времена, я, разумеется, понимаю, как неправильно это было с нашей стороны, учитывая наше непредсказуемое и

бесприютное существование. И все же, если бы мы проявляли разумность и предусмотрительность и принимали меры предосторожности, у нас бы не было Ричарда! Как бы там ни было, мы стали готовиться к рождению ребенка, я начала шить для него одежду, и, конечно, нам повезло, все обошлось хорошо. Нам все время везло. Хотя сейчас-то я осознаю, что Ричарду, скорее всего, было трудно таскаться вместе с нами по свету и наши постоянные переезды могли его нервировать. Мы составили список всех случаев, когда нам приходилось паковать его чемоданчик в первые несколько лет его жизни. Он провел не одну ночь в поездах на железных дорогах Кении и Уганды. В раннем детстве его постоянно окружали новые лица, и он наверняка страдал от ощущения непрочности нашей жизни.

Я нашел этот список, где перечислены все мои скитания 1941-1942 годов. Он записан в тетрадке, "синей тетради", теперь изрядно потрепанной, в которой мама записывала также некоторые мои детские высказывания, а впоследствии еще и высказывания моей сестры Сары. Я помню только одно из мест, упомянутых в списке: дом Грейзбрукс в поселке Мбагати в окрестностях Найроби. Наверное, это оттого, что впоследствии я побывал там снова. Хозяевами дома, где мы жили, были миссис Уолтер, ее невестка Руби, муж которой погиб на войне, и маленькие внуки.

Мама пишет в своих воспоминаниях:

Кения, Уганда и Танганьика запомнились мне многим и принесли немало счастья и радости. Но не обошлось там и без горестей, страхов, тревог и одиночества, когда Джон надолго уезжал и от него не было известий. Письма шли очень долго и приходили очень редко, обычно сразу пачками. Мне часто бывало страшно и одиноко и всегда было тревожно, но нас окружало много хороших, добрых друзей, и с ними мне сильно повезло. Среди них нужно особо отметить Уолтеров из Мбагати, которые просто приняли нас с Ричардом в свою семью.

Я была с ними, когда пришла телеграмма о гибели Джона [сына миссис Уолтер], который совсем недавно приезжал домой на побывку. Миссис Уолтер уже пережила подобное в Первую мировую, на которой погиб ее муж, когда Джон был еще младенцем. Это было очень, очень тяжело.

Так что мы сосредоточили все внимание на маленьком Уильяме Уолтере, а также на родившемся вскоре Джонни. Для Ричарда они довольно долго были как братья, а миссис Уолтер – как бабушка. Она была замечательная старушка, просто великолепная, никогда не сидевшая без дела и не падавшая духом. Она сконцентрировалась на заботах о приезжавших на побывку военных и неоднократно посылала меня в Найроби – отвозить туда и привозить оттуда группы солдат, матросов и летчиков. Я возила их на машине, которая называлась “Юлиана” и была довольно непредсказуемым транспортным средством. У нее было два топливных бака: заводилась она на бензине, а затем, если повезет, переключалась на керосин. Однажды, одолевая 20 с лишним миль дороги до дома, мне едва удалось остаться живой. Я везла из гостиницы “Нью-Стэнли” огромного, необычайно толстого кока, служившего на военном корабле. Как я вскоре поняла, он был к тому же сильно пьян и уснул поперек сиденья, так сильно навалившись на меня, что мне стоило невероятных усилий продолжать вести машину, а сдвинуть его с места я не могла. Мне пришлось очень туго.

Я думаю, что этим военным действительно очень нравилось у Уолтеров. Они играли с детьми и делали всевозможную мужскую работу по дому для миссис Уолтер, которая относилась к ним как к мальчишкам и кормила удивительно вкусной едой. Ее дом стал родным для всех нас.

Мы с Ричардом построили в Мбагати еще одну глиняную хижину – великолепный двойной домик из двух рондавелей [традиционных круглых строений], соединенных прямой перемычкой. Это было очаровательное жилище.

На постройку этих двух хижин с общей крышей ушло около недели. Если не ошибаюсь, именно к ним относится мое самое раннее воспоминание.

Миссис Уолтер к тому времени купила небольшой участок земли. Однажды, когда она очищала его от кустов вместе с работником-африканцем, раздался страшный взрыв, и несчастному начисто снесло одну из пяток (мы решили, что это была мина, оставшаяся с Первой мировой). Миссис Уолтер была очень высокой и сильной и смогла погрузить работника в кузов своей колымаги и привезти домой. Мы оказали ему первую помощь, и миссис Уолтер отвезла его в Найроби. Все это время он ничуть не унывал и болтал без умолку. Трудно было поверить, что у человека может быть столько мужества!

Мы редко вспоминаем о том, что Первая мировая война затронула и значительную часть Африканского континента к югу от Сахары. Танганьика (вместе с Руандой и Бурунди) входила тогда в состав Германской Восточной Африки, и в тех краях шли бои, в том числе даже на воде – на озере Танганьика, между немецкими кораблями с одной стороны и британскими и бельгийскими – с другой (восточный берег озера принадлежал Бельгийскому Конго).

Писательница Элспет Хаксли в своем поистине великом романе-эпопее о жизни народа кикуйю “Краснокожие пришельцы” описывает Первую мировую глазами этого народа – как непостижимое безумство белых людей, в которое африканцы, к своему ужасу, оказались втянуты. Война была не только чудовищной, но и совершенно бессмысленной, потому что победители в итоге не угнали себе ни коров, ни коз побежденных.

Но не все потрясения того времени были связаны с войнами, текущей или прошедшей.

Иногда меня отправляли на соседнюю ферму Леннокс-Браунов, до которой я добиралась на принадлежавшей Руби лошади по имени Бонни. Когда я приехала туда впервые, слуга провел меня в большую гостиную и пошел позвать “мемсаиб”. В комнате было темно из-за задернутых ситцевых штор, не пропускавших яркий солнечный свет. Внезапно я поняла, что в гостиной я не одна: на диване, во всю его длину, растянулась огромная львица, зевавшая мне в лицо! Меня просто парализовало. Когда пришла миссис Леннокс-Браун, она шлепком согнала львицу с дивана. Я передала свое послание и поспешила удалиться.

Этот эпизод был недавно зарисован моей мамой по памяти.

Впоследствии, уже на другой ферме, Ричард и Уильям Уолтер играли с двумя ручными львятами. Размерами и весом они были с крупного взрослого лабрадора (но с короткими лапами). Это были сильные и довольно грубые звери, но Ричарду и Уильяму нравилось с ними играть. Время от времени мы ездили на пикник на холмы Нгонг, по бездорожью, среди невысокой горной травы. Там, наверху, нас ждали прохлада и исключительное великолепие. Но это было очень глупо с нашей стороны, потому что через холмы проходили огромные стада буйволов.

Два следующих моих воспоминания связаны с уколами: первый мне сделал доктор Трим в Кении, а второй (более болезненный) я получил от скорпиона, уже в Ньясаленде. У доктора Трима оказалась подходящая фамилия: по-видимому, именно по его милости мне сделали обрезание[21 - Одно из значений слова trim (англ.) – “подрезка”]. Моего согласия, разумеется, никто не спрашивал, но и моих родителей, похоже, тоже не спросили! Отец был тогда в отъезде, на войне, и ничего не знал об этом, а маме медсестра просто – как об обычной процедуре – сообщила, что мне пора сделать обрезание, вот и все. Судя по всему, в лечебнице доктора Трима эту процедуру производили по умолчанию, как, вероятно, во многих британских больницах того времени. Когда я учился в различных школах-интернатах, обрезанных учеников там было примерно столько же, сколько необрезанных, и мне не удалось найти никакой явной связи этой практики с религией, социальным положением или чем-либо еще. В современной Британии дела обстоят иначе, и Америка, насколько я понимаю, начинает двигаться в том же направлении. В Германии один суд вынес недавно историческое решение, согласно которому обрезание младенцев, даже из религиозных соображений, нарушает права малышей, которые еще не в состоянии давать на это согласие. Это решение, вероятно, будет отменено из-за бурных протестов тех, кто утверждает, что запрещать родителям делать ребенку обрезание значит нарушать их право исповедовать свою религию. Характерно, что права ребенка при этом даже не упоминаются. Религия пользуется в нашем обществе поразительными привилегиями, в которых отказано едва ли не всем другим группам особых интересов – и уж конечно, отказано индивидуумам.

Что до скорпиона, его укол был болезненным упреком мне как юному натуралисту. Я увидел, как он ползет по полу, и ошибочно определил его как ящерицу. Как я мог так ошибиться! Теперь-то я понимаю, что ящерицы и скорпионы несколько не похожи друг на друга. Я подумал, что будет забавно почувствовать, как “ящерица” пробежит по моей босой ноге, и поставил ногу на пути животного. Следующим, что я помню, была жгучая боль. Я поднял такой крик, что стены задрожали, а потом, кажется, потерял сознание. Мама рассказывает, что на мои крики тут же прибежали трое африканцев. Увидев, что случилось, они по очереди попытались высосать яд у меня из ноги. Этот метод считается действенным против змеиных укусов. Не знаю, помогает ли он тем, кого ужалил скорпион, но я нахожу трогательной эту попытку мне помочь. С тех пор я ужасно боюсь скорпионов: я не взял бы в руки скорпиона даже с отрезанным жалом. Страшно представить, какие эмоции у меня могли бы вызвать эвриптериды – гигантские морские скорпионы, жившие в палеозойскую

эру и достигавшие двух метров в длину.

Меня часто спрашивают, поспособствовало ли проведенное в Африке детство тому, чтобы я стал биологом. Случай со скорпионом – лишь один из фактов, указывающих на то, что правильный ответ – “нет”. Об этом же свидетельствует и еще один случай, о котором мне даже стыдно рассказывать. Однажды львиный прайд завалил добычу неподалеку от дома миссис Уолтер, и кто-то из соседей предложил свозить туда всех обитателей ее дома, чтобы посмотреть, как львы разделяют жертву. Мы подъехали на автомобиле для сафари на расстояние менее десяти метров до того места, где одни львы обгладывали труп, а другие, которые, похоже, уже наелись, просто лежали рядом. Взрослые, сидевшие в машине, были заморожены этим впечатляющим зрелищем. Но мы с Уильямом Уолтером, по рассказам мамы, как ни в чем не бывало расположились на полу автомобиля, полностью поглощенные своими игрушечными машинками, которые мы возили по полу, изображая рев моторов. Несмотря на неоднократные попытки взрослых привлечь наше внимание к удивительному зрелищу, мы нисколько им не заинтересовались.

Судя по всему, я компенсировал недостаток интереса к животному миру избытком общительности. Мама вспоминает, что я отличался исключительным дружелюбием и ничуть не боялся незнакомых людей. Я рано начал говорить и полюбил слова. Кроме того, несмотря на то что я был плохим юным натуралистом, похоже, уже в раннем детстве я проявлял себя как скептик. Когда в 1942 году в доме миссис Уолтер отмечали Рождество, на детский праздник пришел человек по имени Сэм, переодетый Санта-Клаусом, и ему, по видимому, удалось провести всех остальных детей. Наконец он нас покинул, приговаривая “Хо-хо-хо!”, и все радостно махали ему на прощание. Но как только за ним закрылась дверь, я посмотрел на окружающих и преспокойно заявил, ко всеобщему замешательству: “Вот Сэм и ушел!”

Мой отец вернулся с войны живым и невредимым. Думаю, ему повезло, что пришлось сражаться не с немцами или японцами, а итальянцами, которые к тому времени, возможно, поняли, чего стоит их дуче с его смехотворным тщеславием, и оказались достаточно разумны, чтобы потерять интерес к победе. Джон служил младшим офицером и командовал экипажем броневика в ходе абиссинской и сомалилендской кампаний, а затем, после разгрома итальянцев, для очередной подготовки был направлен с Восточноафриканским бронеполком на Мадагаскар, откуда ожидал отправки в Бирму. На Мадагаскаре он встретил своего младшего брата Билла, который к тому

времени стал майором в полку Сьерра-Леоне и сражался с намного более страшным врагом – японцами. Впоследствии его имя упоминалось в официальных донесениях с фронта. Однако Джона так и не отправили в Бирму: в 1943 году правительство сочло, что специалисты по сельскому хозяйству важнее в тылу, чем на фронте, и мой отец был демобилизован вместе с сотрудниками департамента сельского хозяйства Ньясаленда.

Прочитав радостное известие о папиной демобилизации, Джин пришла в такой восторг, что чуть не попала под машину, перебегая улицу со мной на руках. Она, как обычно, получала письма до востребования в одном из почтовых отделений Найроби. В письме, которое пришло от Джона на этот раз, якобы описывался матч по крикету. Но Джин несколько не интересовалась крикетом, и Джон это прекрасно знал и никогда не стал бы писать о подобном матче в письмах, – а значит, фрагмент о крикете был зашифрованным посланием. Мои родители договорились использовать в переписке шифр, и отец уже несколько раз прибегал к нему, потому что письма из армии в военное время вскрывались и проверялись цензурой. Шифр был прост: следовало читать только первое слово каждой строчки, не обращая внимания на остальные. И в этом письме первыми словами трех строчек, посвященных крикету, были “bowler hat soon” (“шляпа-котелок, скоро”). Письмо, к сожалению, не сохранилось, но содержание зашифрованного фрагмента нетрудно вообразить. Слово bowler, по-видимому, относилось к игроку-боулелу, слово hat (“шляпа”) отец каким-то образом приплел (возможно, имелась в виду панамка арбитра), а слово soon (“скоро”) было, вероятно, вставлено в какое-то правдоподобное замечание по поводу матча. Что же это означало? Шляпа-котелок считалась главным атрибутом гражданской одежды – униформы дембеля или штатского. Фраза “шляпа-котелок, скоро” могла означать только одно, и Джин не пришлось долго думать над разгадкой этой шарады: Джона собирались демобилизовать. Это известие, как я уже сказал, привело мою мать в такой восторг, что чуть не стоило нам обоим жизни.

Однако вернуться в Ньясаленд оказалось не так-то просто. Нелегальное прибытие Джин в Кению теперь вышло ей боком. Дандриджи[22 – “Дандридж” (dundridge) – слово, которое мы с женой используем между собой для обозначения бессердечных бюрократов, любителей строгих правил. Оно заимствовано из сатирического романа Тома Шарпа, где фамилию Дандридж носит типичный представитель данной породы. Это слово так подходяще звучит! Для включения нового слова в “Оксфордский словарь английского языка” требуется, чтобы его достаточно часто употребляли в письменной речи, не разъясняя его значения и не ссылаясь на первоисточник. У меня уже есть

опыт успешного внедрения в язык нового слова, и я рад, что мой предыдущий неологизм “мем” (meme) стал удовлетворять этим критериям и прочно занял место в словарях среди других слов на букву М. Пожалуйста, используйте слово “дандридж”, чтобы оно тоже вошло в оборот.] из колониального правительства не могли дать ей визу на выезд из Кении, потому что по официальным данным она никогда туда не въезжала. Вернуться вместе с мужем тем же путем, каким они в свое время прибыли в Кению, она не могла, потому что на сей раз Джон получил четкий приказ возвращаться вместе с армией: он не считался демобилизованным до прибытия в штаб Ньясалендского батальона на его “родине”. Поэтому моим родителям нужно было уезжать из Кении по отдельности, а Джин не могла уехать из Кении, потому что ее там как бы и не было. Ей пришлось прибегнуть к помощи миссис Уолтер и доктора Трима, чтобы подтвердить факт своего и моего существования соответственно (поскольку кто, как не доктор Трим, который помог мне появиться на свет, мог ручаться, что я действительно существую). В конце концов дело спасло мое свидетельство о рождении, и дандриджи крайне неохотно, но все же завизировали бумаги, разрешавшие Джин выехать из Кении. Мне было два года, когда мы с ней вылетели на маленьком самолете вроде тех, что теперь называют “прыгунами через лужи”[23 - У нас такие самолеты называют кукурузниками. – Прим. ред.]. Лужи, через которые мы прыгали, впечатляли: они кишели крокодилами, бегемотами, фламинго и купающимися слонами. Весь наш багаж потеряли, когда мы пересаживались на другой самолет в Северной Родезии (теперешней Замбии), но мои родители вскоре утешились, поскольку наконец получили в Ньясаленде свои вещи, отправленные морем из Англии еще в начале войны и только теперь доставленные по назначению, вероятно, под военным конвоем. Мама с радостью вспоминает об этом событии:

Все наши полузабытые свадебные подарки – и мои новые платья! Это было потрясающе. К тому же теперь с нами был Ричард, помогавший исследовать содержимое коробок.

Страна Озера

В Ньясаленде наша семья жила такой же кочевой жизнью, как в Кении. Джона и других вернувшихся из армии специалистов по сельскому хозяйству активно

использовали для замены местных кадров, работавших без отпусков с начала войны и теперь получивших возможность отдохнуть некоторое время в цветущей и гостеприимной Южной Африке. В итоге моего отца каждые несколько месяцев направляли на новую работу в той или иной части страны. Впрочем, как пишет мама, “нам было весело, а для Джона это был еще и ценный опыт; мы многое повидали в Ньясаленде и пожили во многих интересных домах”.

Из этих домов я лучше всего помню тот, в котором мы жили в поселке Маквапала под горой Мпупу у озера Чилва. Мой отец руководил там сельскохозяйственным колледжем и фермой при тюрьме. Заключение, работавшие на ферме, судя по всему, пользовались некоторой свободой. Я вспоминаю, что наблюдал за тем, как они играют в футбол своими огрубевшими босыми ногами. В тот же период в больнице города Зомбы родилась моя сестра Сара, и мама вспоминает, что заключенные из Маквапалы, в числе которых были и убийцы, “выстраивались в очередь за разрешением покатасть ее в коляске после чая”.

Когда мы только приехали в Маквапалу, нашей семье пришлось некоторое время делить предоставляемое сельскохозяйственному чиновнику служебное жилье с семьей папиного предшественника в этой должности, чей отъезд в Англию задержался на несколько недель. У него было двое сыновей, старший из которых, Дэвид, имел дурную привычку кусать других детей. Мои руки покрылись следами его зубов. Однажды, когда мы пили чай на лужайке возле дома, мой отец застал Дэвида за этим занятием и попытался остановить его, аккуратно поставив ногу между Дэвидом и мной. Мать Дэвида была в ярости. Она прижала своего ребенка к груди и набросилась на моего бедного отца с упреками: “Вы что, совсем ничего не знаете о детской психологии? Всем ведь известно, что, если ребенок кусается, нет ничего хуже, чем прерывать его во время укуса!”

Маквапала была местом жарким и влажным и кишела комарами и змеями. Она располагалась в такой глуши, что туда не было регулярной доставки почты, и у поселка был свой собственный “посыльный”, которого звали Саиди. Его работа состояла в том, чтобы каждый день ездить в Зомбу на велосипеде и привозить оттуда почту. Однажды Саиди уехал и не вернулся. Как нам стало известно,

из-за небывалого дождя над горой Зомбой по ущельям на ее крутых склонах хлынули ревущие потоки, толкая перед собой большие куски земли и каменные

глыбы. В городе Зомбе не осталось ни улиц, ни мостов, люди оказались заперты в своих домах и машинах, а дорогу на Маквапалу, разумеется, смыло.

Саиди не пострадал, но я всё равно грустил, поскольку погиб один славный человек, некто мистер Ингрэм, разрешавший мне водить его машину, сидя у него на коленях. Его машину смыло потоком в тот самый момент, когда он переезжал через мост. Моя мама писала: “Позже мы узнали от местных жителей, что нечто подобное уже случалось раньше, хотя и не на памяти нынешнего поколения. Такие бедствия вызывает огромное змееподобное существо по имени Ньяполос, которое приползает в долины и рушит все на своем пути”.

Но от самого дождя я был в полном восторге. Я думаю, что мне передалось чувство облегчения, испытываемое жителями засушливых стран “в тот день, когда хлынул дождь”[24 - “В тот день, когда хлынул дождь” (The Day That the Rains Came) – песня Жильбера Беко, ставшая хитом в исполнении Джейн Морган (1958).]. Мама пишет, что в день вызванного Ньяполосом дождя, который я “по большей части пропустил”, я “скинул с себя одежду и бросился под дождь, крича от радости и прыгая как сумасшедший”. Сильный дождь и по сей день вызывает у меня теплые чувства, но мне больше не нравится мокнуть под ним, – возможно, оттого, что в Англии дожди холоднее.

Именно к периоду жизни в Маквапале относятся мои первые связные воспоминания, а также многие слова и случаи из жизни, записанные моими родителями. Вот две из множества сделанных ими записей:

Мама, иди посмотри. Я нашел, куда ночь ложится спать, когда светит солнце [темнота под диваном].

Я померил ванну Салли своей линейкой, и получилось семь шиллингов девять пенсов, так что она сильно опоздала принимать ванну.

Как и все маленькие дети, я был поглощен возможностью изображать из себя кого-то или что-то другое.

Нет, я думаю, я буду педаль газа.

Теперь перестань быть морской мамой.

Я буду ангелом, а ты, мама, – мистером Наем. Ты говори: “Доброе утро, ангел”. Но ангелы не говорят, они только хрюкают. Теперь ангел будет спать. Они всегда засыпают с головой под ногами.

Мне нравилось также метапритворство второго порядка, когда я изображал кого-то, кто изображает еще кого-то или что-то.

Мама, давай я буду мальчик, который делает вид, что он Ричард.

Мама, я сова, которая водяное колесо.

Недалеко от нашего дома было водяное колесо, которое не давало мне покоя. В три года я попытался объяснить, как сделать водяное колесо:

Привязать немного веревки вокруг палок, и чтобы рядом была канава и в ней очень быстрая вода. Потом взять немного дерева и надеть на него немного жестянки как ручку, и чтобы через нее текла вода. Потом взять кирпичей, чтобы вода побежала вниз, и немного дерева и сделать его круглым, и сделать, чтобы из него много всего торчало, а потом надеть его на длинную палку, и получится водяное колесо, и оно крутится в воде и громко делает ПЛЮХ-ПЛЮХ-ПЛЮХ.

А вот порядок притворства, наверное, нулевой, потому что и моей маме, и мне нужно было изображать самих себя:

Теперь давай ты будешь мама, а я буду Ричард, и мы поедем в Лондон на этом гарримоторе[25 - Англо-индийское словечко garrimotor, по-видимому, вошло в речь нашей семьи через дедушек и прадедушек, работавших в колониях, хотя не исключено, что оно просто распространилось из Индии по всей империи.].

В феврале 1945 года, когда мне было почти четыре, мои родители записали, что я “ни разу не нарисовал ничего узнаваемого”. Это наверняка огорчало мою художественно одаренную маму, которая в 16 лет проиллюстрировала книгу, а впоследствии училась в художественной школе. Я так и остался исключительно бездарным во всем, что касается изобразительного искусства, и даже ценить его не умею. Совсем другое дело – музыка, а также поэзия. Стихи нередко доводят меня до слез, музыка – тоже (хотя и немного реже), например медленная часть струнного квартета Шуберта и некоторые песни Джуди Коллинз и Джоан Баэз. Судя по записям родителей, я рано увлекся ритмикой речи. Например, они подслушали, как однажды в Маквапале, вместо того чтобы спать после обеда, я лежал и декламировал:

Ветер летит,

Ветер летит,

Дождик идет,

Холод приходит,

Дождик, дождик

Идет каждый день,

Потому что листва,

Дождик листвы...

Похоже, я постоянно говорил сам с собой или напевал сам себе, часто какую-нибудь ритмичную бессмыслицу.

Черный кораблик по морю летел,

Черный кораблик по ветру летел,

Где-то по морю внизу,

Черный кораблик на поле внизу,

Черный на поле кораблик внизу,

Поле на море внизу,

Поле на море, и море внизу,

Черный кораблик, поле внизу,

Поле на море, море внизу...

По-видимому, многие маленькие дети произносят подобные монологи и экспериментируют с размерами и перестановкой порой не вполне понятных слов. В автобиографии Бертрана Рассела приведен очень похожий пример. Однажды он подслушал, как его двухлетняя дочь говорит сама с собой:

Северный ветер на Северный полюс.

Ромашки упали в траву.

Ветер сдул колокольчик.

Северный ветер дует на южный.

Следующий мой монолог – искаженная аллюзия на Эзру Паунда, которого мои родители, должно быть, читали вслух[26 - Стихотворение Эзры Паунда “Старинная музыка” (Ancient Music), пародия на старинную английскую песню “Лето пришло” (Summer Is Icumen In), содержит рефрен: “Пойте: «Черт возьми!»”]:

Аскари упал со страуса

Под дождем.

Пойте: “Черт с восьми!”

И что же было страусу?

Пойте: “Черт с восьми!”

Согласно записям родителей, я знал наизусть много песен и исполнял их, изображая из себя граммофон. Я никогда не перевирал мелодию, но иногда добавлял от себя “шуточки”, например изображал заедающую пластинку, раз за разом повторяя одно и то же слово, пока “иглу” (мой палец) не сталкивали с поврежденной канавки. У нас был заводной переносной граммофон, в точности такой же, что увековечен Фландерсом и Сванном в “Песне о воспроизведении”:

Был граммофончик у меня,
Я ручку в нем вертел,
Скрипел он остренькой иглой
И очень мило пел.
Потом усилили его,
И он погромче стал,
Теперь из дерева игла,
Чтоб слишком не орал.

Что характерно, мой отец не покупал деревянные иглы, а делал их сам из шипиков, которыми заканчиваются листья сизалевой агавы.

Некоторые из исполняемых мною песен я выучивал, слушая пластинки, некоторые, вроде процитированной выше, были моими собственными невразумительными импровизациями, а некоторые я узнавал от родителей. Моим родителям, особенно отцу, нравилось учить меня абсурдным песенкам, многие из которых он узнал от собственного отца, и мы провели не один вечер, распевая такие шедевры, как “У Мэри был козел Вильям”, “Хай-хо, Катусалима, краса Ерусалима” или “Хоки-поки-винки-фам” – песенку, которую, как мне рассказывали, мой прадедушка Смитис напевал каждый раз, когда завязывал шнурки – и только тогда. Однажды я потерялся на пляже на берегу озера Ньяса, и родители довольно скоро обнаружили меня сидящим между двумя старушками, отдохавшими в пляжных креслах, и развлекающим их песней про Гордули[27 - Прозвище одного из студентов Тринити-колледжа.] – любимой кричалкой моих отца и деда, которую студенты Баллиола распевают с 1896 года как издевательскую серенаду под стенами соседнего Тринити-колледжа:

Горду-у-у-ули!

Лицо его как зад –

Боб Джонсон[28 - Роберт Джонсон, выпускник Нового колледжа Оксфордского университета, впоследствии много лет возглавлявший Королевский монетный двор.] нам сказал,

А он-то точно знал!

Чертов Тринити! Чертов Тринити!

Да будь я сам из Тринити,

Тогда, тогда

Пошел бы я в уборную,

Пошел, пошел,

Нажал на смыв и смылся бы!

Вот так! Вот так!

Чертов Тринити! Чертов Тринити!

Поэзии тут не много, и обычно эту песню не поют трезвыми, но мне интересно было бы узнать, что о ней подумали старушки. Моя мама говорит, что, хотя они и были миссионерками, похоже, песня им понравилась. Кстати, когда в 1959 году я сам поступил в Баллиол, то обнаружил, что мелодия этой песни изменилась к худшему, потеряв одну тонкость в результате разрушительной меметической мутации, случившейся за те 22 года, что прошли после окончания колледжа моим отцом.

Я регулярно пользовался своим умением изображать граммофон, когда пытался хитрить, чтобы подольше не ложиться спать: у граммофона кончался завод, песня звучала все медленнее (а мой голос делался низким и скрипучим), и меня требовалось “подзавести”. Электричества у нас в доме не было, и нам действительно приходилось подзаводить граммофон через определенные промежутки времени, когда мы слушали пластинки из коллекции моего отца. В основном это были записи Поля Робсона, которого я обожаю и по сей день, а также другого великого баса, Федора Шаляпина, исполнявшего на немецком песню “Том-рифмач” (мне бы очень хотелось снова раздобыть эту запись, но iTunes меня пока подводит), и разная оркестровая музыка, в том числе “Симфонические вариации” Сезара Франка, которые я называл “Капли воды”, – видимо, мне их напоминала партия фортепиано.

Электричества не было во многих домах, где мы жили, поэтому они освещались калильными лампами. Вначале такую лампу нужно было разжигать денатуратом, чтобы разогреть кожух, а затем накачивать парами керосина, после чего она могла гореть весь вечер, приятно шипя. Ватерклозета в большинстве наших пристанищ в Ньясаленде тоже не было, и туалеты в

основном были засыпные, а иногда классические “удобства во дворе” – домик с дыркой в земле. Но в остальном мы жили просто шикарно. У нас всегда был повар, садовник и несколько других слуг (причем слуг мы называли словом “бой” – мне стыдно в этом признаться), среди которых главным был Али, ставший моим постоянным спутником и другом. Чай мы пили в саду на лужайке. У нас был красивый набор серебряной посуды: заварочный чайник, кувшин для горячей воды и молочник, который накрывали изящной муслиновой салфеткой, утяжеленной пришитыми по краям раковинами береговых улиток. Чаевничали мы с шотландскими оладьями, которые и по сей день вызывают у меня наплыв радостных воспоминаний, как мадленки у Пруста[29 - В романе Марселя Пруста “По направлению к Свану” (1913) есть фрагмент, посвященный воздействию печений “Мадлен” (мадленок) на воспоминания главного героя. – Прим. ред.].

Когда отец брал отпуск, мы ездили отдыхать на песчаные пляжи озера Ньяса. Это озеро так велико, что кажется морем: другой его берег теряется за горизонтом. Мы останавливались в приятной гостинице, где роль номеров играли пляжные домики. Один из отпусков отца мы провели в съемном домике, стоявшем высоко на горе Зомбе. Там со мной произошел один случай, показывающий, что тогда я был слишком легковверен (хотя история с Санта-Клаусом как будто свидетельствует об обратном). Я играл в прятки с одним дружелюбным африканцем. Не обнаружив его в одной хижине, через некоторое время я снова заглянул в нее, и на этот раз он был там, хотя я был уверен, что в прошлый раз хорошо ее осмотрел. Он поклялся, что все время сидел в этой хижине, но на время сделался невидимым, и я ему поверил. Как ни очевидно мне теперь, что он говорил неправду, тогда это объяснение показалось мне самым правдоподобным. Я невольно задаюсь вопросом, есть ли педагогические оправдания тому, что детей пичкают сказками, в которых полно чудес и волшебства, в том числе людей-невидимок. Но стоит мне высказать эту мысль, как на меня набрасываются с обвинениями, что я пытаюсь отнять у детей волшебство детства. Кажется, я не рассказал своим родителям об этом случае на горе Зомбе, но, думаю, мне бы понравилось, если бы они изложили мне суть того, что писал о чудесах шотландский философ Дэвид Юм, и спросили, что больше похоже на чудо – возможность обмана взрослым человеком легковверного ребенка с целью удивить того или возможность действительно сделаться невидимым. Как ты теперь думаешь, малыш, что на самом деле случилось в той хижине на горе Зомбе, одиноко возвышающейся над равниной?

Вот еще один пример моей детской легковверности: чтобы я меньше расстраивался по поводу смерти домашних животных, кто-то сказал мне, что когда они умирают, то попадают в свой собственный рай – “страну счастливой

охоты”, и я поверил, даже не задумавшись о том, рай ли это и для жертв, на которых там охотятся. Однажды в Маллионе я увидел собаку и спросил кого-то, чья она. В ответ мне послышалось что-то вроде: “Собака миссис Лэднер вернулась”. Я знал, что у моей бабушки была собака по кличке Сэффрон, которая умерла задолго до моего рождения, и сразу решил (удивившись, но не настолько, чтобы попытаться разобраться), что это действительно Сэффрон, на какое-то время вернувшаяся из “страны счастливой охоты”.

Почему родители считают своим долгом поддерживать в детях легкое верие? Так ли уж плохо задать ребенку, верящему в Санта-Клауса, несколько интересных наводящих вопросов? Сколько каминных труб ему пришлось бы облететь, чтобы разнести подарки всем детям на свете? С какой скоростью пришлось бы летать его оленям, чтобы он справился с этой задачей за одну ночь? Незачем говорить детям открытым текстом, что Санта-Клауса не существует. Можно просто поощрять в них похвальную привычку сомневаться и задавать вопросы.

В военное время, за тысячи миль от родственников и больших магазинов, я не так уж много мог получать подарков на Рождество и дни рождения, но мои родители компенсировали их немногочисленность оригинальностью. Мама как-то сшила потрясающего плюшевого мишку размером с меня самого, а отец находил применение своей изобретательности, изготавливая для меня различные игрушки. Однажды это был грузовик, у которого под капотом имелась одна, зато настоящая свеча зажигания (огромная для игрушечной машины, но это несоответствие меня только радовало). Когда мне было года четыре, я был от этого грузовика без ума. В записях родителей отмечено, что я любил делать вид, будто “машина сломалась”, после чего производил ремонт, объявляя, что именно я делаю:

Заделываю прокол.

Стираю воду с брамтлёра (трамблёра).

Чиню аккумулятор.

Заливаю воду в радиатор.

Подправляю карбюратор.

Вытягиваю подсос.

Пытаюсь включить по-другому.

Чиню зажигание.

Правильно вставляю запасные аккумуляторы.

Подливаю масла в двигатель.

Проверяю, в порядке ли рулевое управление.

Заправляю машину.

Даю двигателю остыть.

Переворачиваю и смотрю снизу.

Проверяю щелчки, коротя концы [понятия не имею, что это означало].

Меняю рессору.

Чиню тормоза.

И т. д.

Каждая из этих операций сопровождается соответствующими движениями и звуками, после чего раздается звук стартера, и двигатель может завестись (но обычно не заводится).

В 1946 году, на следующий год после окончания войны, мы смогли съездить в отпуск “домой”, то есть в Англию (Англия всегда была для меня “домом”, хотя я ни разу там не был; мне доводилось встречать новозеландцев во втором поколении, которые тоже следовали этой ностальгической традиции). Мы поехали в Кейптаун поездом, чтобы сесть на корабль “Владычица Шотландии” (а

я думал, что “Владычиста”) и добраться на нем до Ливерпуля. У южноафриканских поездов между вагонами были открытые мостки с перилами, как на корабле, через которые можно было перегнуться и смотреть на проносящийся мимо мир, ловя хлопья пепла, летящие из трубы жутко дымившего паровоза. Однако эти перила, в отличие от перил на корабле, были устроены так, чтобы телескопически удлиняться или укорачиваться на поворотах. Эта система была просто создана для несчастного случая, и он действительно произошел. Я перекинул левую руку через перила и не заметил, что поезд начал поворачивать. Кожа моей руки оказалась зажата между трубками перил, одна из которых углубилась в другую, а родители ничего не могли сделать и вынуждены были в ужасе ждать, пока долгий поворот закончится и перила снова выпрямятся. На следующей станции, в Мафекинге, поезд задержали, чтобы доставить меня в больницу и зашить рану на руке. Надеюсь, что другие пассажиры не злились на меня из-за этой задержки. Шрам от той раны остался у меня по сей день.

Когда мы наконец добрались до Кейптауна, оказалось, что “Владычица Шотландии” – корабль очень мрачный. Его переделали в пассажирское судно из средства для перевозки солдат. Вместо кают там были похожие на темницы общие спальни с тремя рядами коек. Одни спальни были для мужчин, другие – для женщин и детей. Места было так мало, что даже переодеваться приходилось по очереди. В женской спальне, как записано в дневнике моей мамы...

...было много маленьких детей и царил настоящий бедлам. Мы одевали их и передавали у двери отцам, которые выстраивались в длинную очередь, чтобы забрать собственного ребенка, после чего шли занимать очередь на завтрак. Ричарду приходилось регулярно ходить к корабельному врачу на перевязку, и, конечно, на середине нашего трехнедельного путешествия у меня начался приступ малярии. Нас с Сарой пришлось перевести в корабельный лазарет, а бедный Ричард остался один в нашей кошмарной спальне, и ни мне, ни Джону не разрешили его забрать. Это было жестоко.

По-моему, мы не до конца понимали, каким тяжелым испытанием это путешествие было для Ричарда. И как долго могли ощущаться последствия того ужасного опыта, из-за которого он должен был лишиться чувства защищенности. К тому времени, как мы добрались до Англии, он превратился в очень грустного маленького мальчика и утратил всю свою живость. Когда мы

смотрели с корабля сквозь завесу дождя на ливерпульскую гавань и ждали возможности сойти на берег, он с удивлением спросил: “Так это и есть Англия?” И тут же добавил: “Когда мы поедем обратно?”

Мы поехали к моим дедушке и бабушке по отцовской линии в их дом Хоппет в графстве Эссекс, где...

...в феврале был жуткий холод и спартанские условия. Ричард совсем потерял уверенность в себе и начал заикаться. Большую часть жизни ему приходилось носить очень мало одежды, и теперь пуговицы и шнурки ставили его в тупик, а дедушка и бабушка считали его отсталым ребенком: “Он что, еще не умеет сам одеваться?” Ни у нас, ни у них не было книг по детской психологии, и, когда они попытались приучить Ричарда к какой-никакой дисциплине, он сделался очень замкнутым и немного заторможенным. В Хоппете было заведено, что, когда ребенок спускается к завтраку, он должен говорить “доброе утро”, и если он забывал это сказать, его заставляли выйти и снова войти, до тех пор пока он не сделает все как надо. В итоге его заикание только усилилось, и нам всем было невесело. Теперь мне стыдно, что мы позволяли дедушке и бабушке вести себя подобным образом.

С дедушкой и бабушкой по материнской линии, жившими в Корнуолле, дела обстояли не намного лучше. Почти вся еда мне не нравилась, и, когда дедушка с бабушкой заставляли меня ее есть, я устраивал истерики, доводившие меня до рвоты. Хуже всего были отвратительные водянистые кабачки, от которых меня действительно рвало прямо за столом. Думаю, все вздохнули с облегчением, когда нам пришла пора уезжать в Саутгемптон, чтобы на корабле “Замок Карнарвон” отплыть в Кейптаун, откуда мы вернулись в Ньясаленд – но не в Маквапалу в южной части страны, а в район города Лилонгве в центральной ее части. Там мой отец работал вначале на сельскохозяйственной научно-исследовательской станции в поселке Ликуни, а затем в самом Лилонгве. Теперь Лилонгве – столица Малави, тогда же это был небольшой провинциальный городок.

И с Ликуни, и с Лилонгве у меня связаны счастливые воспоминания. К шести годам я сильно увлекся естественными науками: помню, как в Ликуни донимал свою бедную сестренку в нашей общей спальне рассказами о Марсе, Венере и

других планетах, расстоянии от каждой из них до Земли и вероятностях того, что на них есть жизнь. Ликунский воздух был абсолютно прозрачным, и я, когда стемнеет, обожал смотреть на звезды. Вечера были для меня временем волшебного чувства покоя и защищенности и ассоциировались с церковным гимном Бэринга-Гулда:

Вот и день окончен,

Подступает ночь.

Солнце закатилось

И уходит прочь.

Робко смотрят звезды

С темной высоты.

Засыпают птицы,

Звери и цветы.

Не знаю, откуда я мог узнать церковный гимн: в Африке мы никогда не ходили в церковь (хотя в Англии, когда жили у дедушек и бабушек, все же ходили). Наверное, меня научили этому гимну родители. Вероятно, от них же я узнал и другой гимн: “Есть друг у малых деток в небесной вышине...”

Именно в Ликунни я впервые заметил и заинтересовался тем, как на закате удлиняются тени, в то время не вызывавшие у меня никаких зловещих предчувствий, в отличие от Элиота, писавшего про “тень твою, тебя встречающую на закате”[30 - Из поэмы Томаса Стернза Элиота “Бесплодная земля” (The Waste Land, 1922), перевод Я. Пробштейна.]. Когда я слышу ноктюрны Шопена, я всякий раз живо вспоминаю Ликунни и уютное чувство полной безопасности, возникавшее у меня вечерами, когда “робко смотрят звезды”.

На ночь отец рассказывал нам с Сарой замечательные сказки, которые сам придумывал. Во многих из них фигурировал “бронкозавр”, который высоким фальцетом говорил “тили-тили-бом” и жил далеко-далеко в стране под названием Гонвонки (на что была эта аллюзия, я понял только в колледже, когда узнал про Гондвану – южный суперконтинент, распавшийся на Африку, Южную

Америку, Австралию, Новую Зеландию, Антарктиду, Индию и Мадагаскар). Нам очень нравилось смотреть в темноте на светящийся циферблат наручных часов отца, а он рисовал нам на запястьях часы перьевой авторучкой, якобы чтобы мы могли следить за временем ночью, лежа в своих уютных постелях под противомоскитными сетками.

С Лилонгве у меня тоже связаны драгоценные воспоминания детства. Служебный дом районного сельскохозяйственного чиновника утопал в густых зарослях бугенвиллеи. В саду во множестве росли настурции, и я обожал есть их листья. Их неповторимый островатый вкус, который теперь иногда встречается мне в салатах, – еще один мой личный аналог мадленок Пруста.

В точно таком же соседнем доме жила семья врача. У доктора и миссис Глинн был сын Дэвид, мой ровесник, с которым мы играли каждый день – или у него дома, или у меня, или где-то в окрестности. Мы находили в песке синевато-черные гранулы, видимо, железные, потому что собирали их магнитом, который таскали по песку за веревочку. Мы строили на веранде из ковриков, циновок и одеял, уложенных на перевернутые стулья и столы, “домики” с комнатами и коридорами и даже проводили в эти “домики” водопровод, трубы которого делали из соединенных полых стеблей дерева, росшего в саду. Возможно, это была цекропия, но мы называли ее “ревень”, – вероятно, потому, что любили распевать песенку (на мотив “Коричневого кувшинчика” [31 - “Коричневый кувшинчик” (Little Brown Jug) – песня американского композитора Джозефа Уиннера (1869).]):

Ха-ха-ха, вот те на,

В ревете гнездо слона.

Мы ловили бабочек, в основном черно-желтых парусников. Теперь я понимаю, что это были, по-видимому, разные виды рода *Papilio*, но мы с Дэвидом не умели их различать и называли всех “рождественский папа”. Дэвид утверждал, что они на самом деле так называются, хотя это было и нелогично, учитывая их черно-желтую окраску.

Отец поощрял мое увлечение бабочками и сделал для меня коробку, в которую можно было помещать наколотых бабочек. Дно этой коробки было из сизаля, а не из пробки, которую предпочитают профессионалы. Коробки с пробковым дном использовал и мой дедушка Докинз, тоже коллекционер бабочек. Дедушка и

бабушка однажды приехали к нам в гости. Они решили совершить большой тур по всей Восточной Африке и навестить своих сыновей одного за другим. Вначале заехали в Уганду к Кольеру, а затем отправились к нам в Ньясаленд, через Танганьiku. Моя мама вспоминает, что они ехали...

...на нескольких чудовищно некомфортабельных местных автобусах, куда набивались толпы африканцев, перевозивших несчастных кур со связанными ногами и огромные тюки всевозможных товаров. Но дальше Мбеи [в Южной Танганьике] никакой транспорт не ходил. Некий молодой человек, у которого был небольшой легкий самолет, предложил довезти их до Ньясаленда. Они вылетели из Мбеи, но погода испортилась, и пришлось вернуться. Все это время мы не получали от путешественников никаких известий. Когда погода наладилась, была предпринята еще одна попытка. Самолет летел так низко, что Тони [мой дедушка: так сокращали его имя Клинтон] мог, высовываясь наружу, разбираться по старой карте, над какими реками и дорогами они пролетали, и давать указания пилоту.

У дедушки была склонность к авантюризму, и здесь он оказался в своей стихии. К тому же он страстно любил карты, а также расписания поездов, которые знал наизусть. В глубокой старости он не читал ничего, кроме них.

Когда в Лилонгве прилетал самолет, все узнавали об этом минут за десять до его прибытия. Дело в том, что одна местная семья держала у себя в саду венценосных журавлей, которые слышали шум приближающегося самолета задолго до того, как его могли расслышать люди, и принимались громко кричать. Никто не знал, кричат ли они от страха или от радости! Однажды журавли подняли крик в тот день, когда прибытие еженедельно прилетающего самолета не ожидалось, и мы подумали, что это могут быть дедушка и бабушка. Мы отправились на летное поле вместе с Ричардом и Дэвидом, которые поехали на своих трехколесных велосипедах. Когда мы добрались до летного поля, то как раз увидели прибытие крошечного самолета, который дважды облетел вокруг города, после чего приземлился, сильно подпрыгивая, и из него вылезли бабушка и дедушка.

Никаких авиадиспетчеров, только венценосные журавли!

В Лилонгве в нас как-то раз попала молния. Однажды вечером пришла сильная гроза. Было очень темно. Дети ужинали под противокмаринными сетками в своих деревянных кроватках, а я читала, сидя на полу и прислонившись к нашему так называемому дивану (сделанному из старой металлической кровати). Внезапно я почувствовала, будто меня ударили кувалдой по голове, и распласталась по полу. То был мощный прицельный удар. Мы увидели, что загорелись радиоантенна и одна из занавесок, и бросились в детскую проверить, все ли в порядке с детьми. Они ничуть не пострадали и продолжали со скучающим видом грызть кукурузные початки!

История умалчивает, потушили мои родители занавеску до или после того, как бросились в нашу с сестрой комнату, чтобы проверить, не случилось ли чего с нами. Далее мама пишет в своих воспоминаниях:

У меня был длинный красный ожог на том боку, которым я прислонялась к металлической кровати. Позже мы обнаружили и другие странные вещи. Такие, например, как кусок бетонного пола, вырванный из него и заброшенный на крышу гаража! У повара нож сам вылетел из руки и подкосились ноги, веревка для сушки белья расплавилась, стекла в гостиной оказались забрызганы расплавленным металлом радиоантенны, которая просто исчезла, и т. д. Мы уже не всё помним, но последствия были впечатляющими.

Мои воспоминания об этом событии довольно смутные, но мне интересно, действительно ли нож сам вылетел из руки повара, или же это повар отбросил его в страхе (как сделал бы я на его месте). Я помню разноцветные пятна, оставленные на окнах какими-то брызгами, и помню сам момент удара молнии, когда вместо обычных раскатов грома (которые по большей части состоят из эха) раздался один необычайно громкий хлопок. Он должен был сопровождаться очень яркой вспышкой, но я этого не помню.

К счастью, мы не начали бояться грозы после этого случая и не раз за годы жизни в Африке наслаждались зрелищами великолепных гроз. Это было очень красиво: черные силуэты гор на фоне сверкающего неба под звуки большого

оперного оркестра из раскатов грома, порой почти непрерывных.

В Лилонгве мы купили нашу первую совсем новую машину, джип-универсал “виллис” под названием “Ползучая Дженни”, сменившую наш старый “Стандард-12” по имени “Бетти Тернер”. Я с ностальгическим чувством вспоминаю восхитительный запах новой машины, исходивший от “Ползучей Дженни”. Отец объяснил нам с Сарой, в чем преимущества этой машины перед другими. Мне особенно запомнились плоские крылья над передними колесами: папа сказал нам, что они сделаны специально для того, чтобы использовать их в качестве столиков на пикниках.

Когда мне было пять лет, меня отдали в маленький детский сад нашей соседки миссис Милн, состоявший всего из одной комнаты. Миссис Милн не могла ничему меня научить, потому что все остальные дети еще только учились читать, а я уже умел благодаря маме, поэтому миссис Милн сажала меня отдельно и давала мне “взрослую” книгу, которую я должен был штудировать. Эта книга была для меня слишком взрослой, и, хотя я честно заставлял себя просматривать каждое слово, большую часть я не понимал. Я помню, как спрашивал миссис Милн, что значит “пытливый”, но когда она была занята другими детьми, то не могла часто отвечать на мои вопросы. Так что в итоге я...

...стал учиться вместе с Дэвидом Глинном, сыном доктора, которому давала уроки его мать. Оба мальчика были умны и сообразительны и, вероятно, многому научились. Потом они с Дэвидом оба пошли в школу Орла.

Орел в горах

Школа Орла была совсем недавно основанной школой-интернатом. Она располагалась в хвойном лесу высоко в горах Вумба неподалеку от границы с Мозамбиком в Южной Родезии (теперь это Зимбабве, страна с отвратительным диктаторским режимом). Я пишу об этой школе в прошедшем времени, потому что ее закрыли в ходе конфликтов, обрушившихся с тех пор на несчастную страну. Основал интернат Фрэнк (Танк) Кэри, бывший заведующий пансионом

школы Дракона в Оксфорде – кажется, самой большой и, возможно, лучшей пригласительной школы в Англии, отличающейся замечательным духом любви к приключениям и могущей похвастаться впечатляющим списком выдающихся выпускников. Танк решил поехать за удачей в Африку и основал школу, ставшую достойной продолжательницей традиций школы Дракона. У нашего интерната были тот же девиз (“Arduus ad solem” – цитата из Вергилия) и тот же гимн, исполнявшийся на мелодию Артура Салливана к церковному гимну “Вперед, Христово воинство”: “Arduus ad solem – стремление к солнцу ввысь...” Танк посетил нашу семью в Лилонгве в ходе своей поездки в Ньясаленд, целью которой было убедить родителей отдать детей в его школу. Моим родителям он понравился, и они решили, что школа Орла мне подходит. То же самое решили доктор и миссис Глинн про Дэвида, и нас с ним вместе отправили туда учиться.

Я помню школу Орла смутно. Кажется, я проучился там всего два семестра, первый из которых был вторым семестром в истории школы. Среди моих воспоминаний – присутствие на ее официальном открытии, так называемом Дне открытия, о котором до этого много говорили. Меня удивляло название этого мероприятия, потому что я думал, будто это аллюзия на гимн “Наш Бог – прибежище в веках...”[32 - Our God, Our Help in Ages Past – гимн начала XVIII века на стихи Исаака Уоттса.]

Исчезнут времени сыны,

Поток его кляня,

И все забудутся, как сны

Умрут с открытием дня.

Когда я учился в школе Орла, церковные гимны вообще производили на меня большое впечатление, даже “Борись за правые дела...”[33 - Fight the Good Fight with All Thy Might – церковный гимн на стихи ирландского поэта XIX века Джона Монселла, исполняется на несколько разных мотивов.], исполнявшийся на невообразимо тоскливый мотив, больше подходящий, чтобы дремать, нежели бороться. Всем родителям было велено снабдить своих сыновей Библией. Мои родители почему-то выдали мне “Детскую Библию”, а это было совсем не то, и я чувствовал себя немного изгоем, “не таким, как все”. В частности, она не была разделена на главы и стихи, и я воспринимал это как ужасную неполноценность. Меня так увлек библейский способ разделения прозаического текста для удобства ссылок, что я прошелся и по нескольким своим обычным книжкам,

разделив их на пронумерованные “стихи”. Мне недавно довелось ознакомиться с “Книгой Мормона”, сфабрикованной в XIX веке шарлатаном по фамилии Смит, и я полагаю, что его, должно быть, подобным же образом увлекла “Библия короля Якова”, так что он не только разделил свою книгу на стихи, но и имитировал при ее написании стилистику английского языка XVI века. Кстати, для меня загадка, почему из-за одного этого факта его книгу сразу не разоблачили как подделку. Или его современники думали, будто Библия была исходно написана английским языком Тиндейла и Кранмера?[34 - Уильям Тиндейл (около 1494–1536) – переводчик Библии на английский (“Библия Тиндейла”). Томас Кранмер (1489–1556) – архиепископ Кентерберийский, автор предисловия к другому известному переводу Библии на английский (“Большая Библия”, также известная как “Библия Кранмера”, хотя он и не участвовал в работе над переводом), отчасти основанному на переводе Тиндейла. “Большая Библия” была первым официальным изданием Библии на английском языке.] Как язвительно заметил Марк Твен, если убрать из “Книги Мормона” все повторения фразы “И случилось так”, от нее остался бы просто памфлет.

Моей любимой книгой в ту пору была “История доктора Дулиттла” Хью Лофтинга, которую я обнаружил в школьной библиотеке. Теперь ее нередко исключают из библиотек за расизм, и нетрудно понять почему. Принц Бампо из племени Джоллиджинки, с головой ушедший в мир сказок, страстно желает стать таким принцем, в каких превращаются заколдованные лягушки или какие влюбляются в Золушек. Опасаясь, что его черное лицо испугает любую Спящую красавицу, которую ему доведется пробудить своим поцелуем, он упрашивает доктора Дулиттла отбелить ему физиономию. Легко понять, что эта книга, ничем не примечательная и ничуть не скандальная для 1920 года, когда она была опубликована, пришла в противоречие с меняющимся духом времени конца XX века. И все же, если говорить о моральных уроках, которые можно извлечь из замечательных книг Лофтинга о докторе Дулиттле, лучшей из которых я считаю “Почту доктора Дулиттла”, встречающийся в них налет расизма с лихвой искупается намного более выраженным антиспециесизмом[35 - Специесизмом (англ. speciesism) или видовым шовинизмом называют, по аналогии с расизмом и шовинизмом соответственно, представление о превосходстве одного вида (прежде всего, человека разумного) над другими.].

Помимо гимна и девиза школа Орла переняла у школы Дракона обычай называть учителей по прозвищу или имени. Директора мы все называли Танк, даже когда он нас наказывал. В то время я думал, что имелся в виду water tank – бак с водой на крыше дома, но теперь понимаю, что на самом деле это прозвище наверняка означало бронемашину, способную безостановочно ехать, не разбирая дороги.

По-видимому, в годы работы в школе Дракона мистер Кэри приобрел репутацию человека настойчивого и упорного, движущегося к цели напролом, невзирая на преграды. Другими учителями были Клод (тоже работавший ранее в школе Дракона), Дик (в чьи обязанности входила почетная миссия раздачи драгоценных порций шоколада во время нашего дневного отдыха по средам) и Пол – склонный к черному юмору венгр, преподававший французский. Миссис Уотсон, которая учила самых маленьких мальчиков, называлась Уотти, а заведующая хозяйством мисс Копплстоун – Копперс.

Я не могу сказать, что это была счастливая пора моей жизни, но, вероятно, я был счастлив ровно настолько, насколько это возможно для семилетнего мальчика, вынужденного три месяца жить вдали от дома. Мучительнее всего была фантазия, приходившая мне в голову чуть ли не каждое утро, когда Копперс тихо обходила спальни еще до подъема: я воображал, что она каким-то волшебным образом превратится в мою маму. Я постоянно молился, чтобы это случилось. У Копперс были темные вьющиеся волосы, как у моей мамы, и по своей детской наивности я думал, что превращение одной в другую будет не таким уж большим чудом. И я был уверен, что другим мальчикам моя мама понравится не меньше, чем нам всем нравилась Копперс.

Копперс была добра и заботилась о нас по-матерински. Мне приятно думать, что характеристика, которую она дала мне по окончании первого семестра, была написана не без теплоты. Копперс писала, что у меня “только три скорости: медленно, очень медленно и стоп”. Однажды она меня сильно напугала, совершенно непреднамеренно. Дело в том, что когда-то я увидел африканца с невидящими белыми глазами, похожими на белки крутых яиц, и с тех пор панически боялся ослепнуть. Меня тревожила мысль, что я сам могу в один прекрасный день полностью лишиться зрения или слуха. После долгих мучительных раздумий я решил, что это почти одинаково страшно, но все же нет ничего хуже, чем ослепнуть. Школа Орла была настолько современной, что там был даже электрический свет от своего собственного генератора. Как-то вечером, когда Копперс разговаривала с нами в спальне, этот генератор, судя по всему, заглох. Свет постепенно сошел на нет, стало совсем темно, и я спросил дрожащим голосом: “Это что, свет погас?” “О нет, – ответила Копперс с легким сарказмом, – это, наверное, ты ослеп”. Бедная Копперс, конечно, и не думала, какое впечатление на меня произведут ее слова.

Еще я панически боялся привидений, которых представлял себе в виде совершенно целых гремящих костями скелетов с зияющими глазницами, с

огромной скоростью бегущих мне навстречу по длинным коридорам и вооруженных мотыгами, которыми они ударяют меня с потрясающей точностью в большой палец ноги. Были у меня и другие странные фантазии, например о том, как меня жарят и едят. Понятия не имею, откуда я брал эти жуткие образы. Определенно не из книг, которые читал, и уж тем более не из рассказов родителей. Возможно, их истоком были страшные истории, которые другие мальчики рассказывали перед сном. В моей следующей школе точно были любители подобных рассказов.

Именно в школе Орла я впервые наблюдал безграничную детскую жестокость. Меня самого, к счастью, не унижали, но с нами учился мальчик, которого называли Тетушка Пегги и беспощадно травили, кажется, только за то, что у него было это нелепое прозвище. Эти издевательства выглядели как сцены из “Повелителя мух” [36 - Роман Уильяма Голдинга (1954). – Прим. ред.]: вокруг него водили хороводы десятки мальчишек, монотонно напевавших на мотив из какой-то игры: “Тетушка Пегги, Тетушка Пегги, Тетушка Пегги...” Бедного ребенка это приводило в бешенство, и он отчаянно бросался на своих мучителей с кулаками. Однажды у него была серьезная и долгая драка с мальчиком по имени Роджер, перед которым мы все трепетали, потому что ему было уже двенадцать. А мы все стояли, окружив катающихся по земле драчунов, и смотрели. Симпатии толпы были на стороне задиры, парня красивого и спортивного, а вовсе не на стороне жертвы. Мне стыдно вспоминать этот случай, хотя подобные стычки весьма часто происходят между школьниками. В конце концов, но отнюдь не сразу, Танк положил конец этой массовой травле и однажды утром на общем собрании вынес нам строгое предупреждение.

Перед сном мы должны были вставать на колени в своих кроватях, расположенных изголовьями к стене, и один из нас (в зависимости от того, на кого выпадала очередь) произносил вечернюю молитву:

Молим тебя, о Господи, даруй нам свет во тьме и своею великой милостью защити нас от всех угроз и опасностей этой ночи. Аминь.

Мы никогда не видели этот текст написанным и плохо понимали его смысл. Каждый вечер мы повторяли его друг за другом, как попугаи, и в результате слова молитвы постепенно эволюционировали, превращаясь в невнятную бессмыслицу. Это могло бы стать основой интересного эксперимента из области

теории мемов (если вам вообще интересны подобные вещи; в противном случае можете просто перейти к следующему абзацу). Понимай мы слова этой молитвы, мы бы их не искажали, потому что их смысл имел бы “нормализующий” эффект, похожий на репарацию ошибочно спаренных нуклеотидов при копировании генетической информации. Именно подобная нормализация и позволяет мемам сохраняться на протяжении многих “поколений” (если развивать аналогию с генами). Но, поскольку многие слова молитвы были нам плохо знакомы, мы могли только воспроизводить их звучание на слух, в результате чего при передаче “из поколения в поколение” (от одного мальчика к другому) с очень высокой частотой происходили “мутации”. Я думаю, что было бы интересно изучить этот эффект экспериментально, но пока еще не собрался это сделать.

Часто случалось, что один из учителей, обычно Танк или Дик, запевал, а мы подхватывали хором. Мы пели, в частности, “Кэмптаунские скачки”[37 - Samptown Races – американская песня середины XIX века, написанная для менестрель-шоу (народного театра, в котором белые актеры изображали чернокожих).], а также вот такую песенку:

Вот шесть пенсов, славные шесть пенсов,

Столько навеки хватит мне,

Два я в долг дам, два потрачу,

Два же отнесу домой жене.

А в песенке, приведенной ниже, нас учили произносить букву R в слове birds (“птицы”); в то время я не понимал, зачем это надо, но дело было, наверное, в том, что песенка считалась американской[38 - В американском английском, в отличие от британского, есть тенденция озвучивать букву R после гласных, где британцы ее обычно не произносят. Слово birds звучит примерно как “бёрррдз”].:

Сидим мы все, как птицы на деревьях,

Сидим как птицы,

Сидим как птицы,

Сидим мы все, как птицы на деревьях,

Где-то в Демераре...

Школа Орла отчасти унаследовала у школы Дракона ее знаменитый дух любви к приключениям. Я помню один потрясающий день, когда учителя организовали для всей школы массовую игру в “матабеле и машона” (по названиям двух основных племен Родезии – местную разновидность “ковбоев и индейцев” [39 - Аналог казаков-разбойников.]), в ходе которой мы носились по лесам и лугам гор Вумба (что означает “туманные горы” на языке племени машона). Одному небу известно, как нам всем удалось не заблудиться и не потеряться в чаще. Хотя у нашей школы не было бассейна (он был построен, но позже, когда я там уже не учился), мы имели возможность купаться (голышом) – в очаровательном озерке под водопадом, что было намного веселее. Какому мальчишке нужен бассейн, если у него есть настоящий водопад?

Однажды меня отправили в школу Орла на самолете – настоящее приключение для семилетнего мальчика, путешествующего без родителей. Я летел на биплане “Быстрый дракон” из Лилонгве в Солсбери (нынешний Хараре), откуда должен был продолжать путь до Умтали (нынешнего Мутаре). Предполагалось, что родители моего соученика по школе Орла, жившие в Солсбери, встретят меня в аэропорту и отправят дальше, но их почему-то не было. Мне казалось, что я провел чуть ли не целый день (теперь я понимаю, что на самом деле все-таки не так долго), слоняясь вокруг аэропорта Солсбери. Люди были добры ко мне: кто-то накормил обедом, а кто-то пустил меня в ангары посмотреть на самолеты. Как ни странно, этот день я вспоминаю с большим удовольствием, и мне ничуть не было страшно – ни от одиночества, ни от неизвестности. Наконец появились те, кто должен был меня встретить, и с их помощью я добрался до Умтали, где, если не ошибаюсь, меня уже ждал Танк на своем джипе “виллис”, который мне нравился, потому что был похож на “Ползучую Дженни” и напоминал о доме. Я описал этот случай так, как сам его помню. Дэвид Глинн помнит его иначе, но я полагаю, что у меня было два подобных путешествия – одно с ним, а другое без него.

Прощание с Африкой

В 1949 году, через три года после описанного выше длительного отпуска, мой отец взял подобный отпуск, и мы снова отправились в Англию из Кейптауна, на сей раз на очень приятном корабле под названием “Умтали”, о котором я мало что помню, кроме чудесной полированной деревянной обшивки и светильников, выполненных, как я теперь думаю, в стиле ар-деко. Команда была слишком

маленькой, чтобы иметь в своем составе еще и массовика-затейника, поэтому на эту роль выбрали некоего мистера Кимбера, из тех людей, которых называют душой компании. В частности, когда мы пересекали экватор, он организовал по этому поводу праздничную церемонию, включавшую в себя появление Нептуна с бородой из морских водорослей и трезубцем. В другой раз он устроил маскарад, на котором меня нарядили пиратом. Я завидовал другому мальчику, одетому ковбоем, но мои родители объяснили, что его костюм, который был, надо признать, качественнее моего, просто купили в магазине, а мой создали сами, а значит, на самом деле он был лучше. Теперь я могу это понять, но тогда не мог. Один маленький мальчик изображал Купидона: он был совершенно голый и держал стрелу и лук, которым кидался в окружающих. Моя мама преобразилась в одного из индийцев-официантов (мужчину), для чего она покрасила кожу марганцовкой, не смывавшейся еще много дней, и одолжила форменную одежду с характерным кушаком и тюрбаном. Другие официанты ей подыграли, и никто из ужинавших ее не узнал: даже я, даже капитан, которому она нарочно принесла мороженое вместо супа.

В тот день, когда мне исполнилось восемь лет, я научился плавать в крошечном корабельном бассейне, сделанном из парусины, натянутой между закрепленными на палубе столбиками. Я был так рад своему новому умению, что хотел поскорее применить его в море. Поэтому во время стоянки в порту Лас-Пальмас на Канарских островах, в ходе которой корабль должен был принять на борт большой груз помидоров и всех пассажиров высадили на весь день на берег, мы отправились на пляж, где я гордо плавал в море под бдительным надзором мамы, остававшейся на берегу. Вдруг она увидела, что на мою крошечную плывущую по-собачьи фигурку грозит обрушиться выдающихся размеров волна. Мама, как была в одежде, самоотверженно бросилась в воду, чтобы меня спасти, и тогда волна, бережно приподняв меня, со всей силы обрушилась на нее, промолив с головы до пят. Пассажиров пустили обратно на корабль только вечером, поэтому мама провела остаток дня в мокрой и пропитанной солью одежде. К сожалению, ее неблагодарный сын забыл этот пример материнского самопожертвования, и я рассказываю о нем с ее слов.

Помидоры, должно быть, загрузили плохо, потому что груз вскоре заметно сместился, и корабль так угрожающе накренился на правый борт, что иллюминатор нашей каюты оказался полностью под водой, в связи с чем моя маленькая сестра Сара решила, что “теперь мы правда затонули, мама”. В печально известном Бискайском заливе, где “Умтали” попал в мощный шторм, крен стал еще хуже – так что даже стоять было трудно. Я же в восторге побежал в нашу каюту и стянул со своей койки простыню, которую хотел использовать в

качестве паруса, чтобы ветер гнал меня по палубе, как яхту. Мама пришла в ярость: она сказала, что меня может сдуть за борт (возможно, она была права). Любимое детское одеялко Сары действительно сдуло за борт, и это была бы настоящая трагедия, не догадайся мама заранее разрезать его надвое, чтобы приберечь про запас половину, которая сохранит правильный запах. Пахучие детские одеяла интересуют меня как явление, хотя у самого такого никогда не было. Обычно дети держат одеялко так, что ощущают его запах, когда сосут палец. Подозреваю, что это как-то связано с результатами экспериментов Гарри Харлоу с тряпичной “искусственной матерью” для детенышей макак-резусов.

В конце концов мы добрались до Лондонского порта и поехали в Эссекс, где остановились в очаровательном старом фермерском доме в стиле Тюдоров под названием Кукуз (Кукушки), расположенном напротив Хоппета. Мои бабушка и дедушка купили этот дом, чтобы предотвратить застройку земли. Вместе с нами в нем жили мамина сестра Диана, ее дочь Пенни и ее второй муж – брат моего отца Билл, приехавший в отпуск из Сьерра-Леоне. Пенни родилась после того, как ее отец, Боб Кедди, погиб на войне, унесшей также жизни обоих его доблестных братьев. Это была ужасная трагедия для пожилых мистера и миссис Кедди, которые после этого сосредоточили все свое внимание на маленькой Пенни, что вполне понятно, ведь она оказалась их единственным оставшимся потомком. Они также были очень добры к нам с Сарой – двоюродным брату и сестре их внучки, – обращались с нами как с почетными внуками, регулярно дарили нам дорожные рождественские подарки и каждый год возили нас в Лондон на какую-нибудь пьесу или пантомиму. Они были богаты (семья владела “Универсальным магазином Кедди” в Саутенде) и жили в большом доме, во дворе которого располагались бассейн и теннисный корт, а в самом доме был чудесный детский рояль фирмы “Бродвуд” и телевизор, которые к тому времени только-только появились. Мы, дети, еще никогда не видели телевизора и как зачарованные следили за размытым черно-белым изображением ослика Мафина на крошечном экране, находящемся посередине большого корпуса из полированного дерева.

О тех нескольких месяцах, когда все мы жили одной семьей в Кукушках, у нас с сестрой остались волшебные воспоминания. Подобные возможны только в детстве. Наш любимый дядя Билл смешил нас, обзывая “штанами из патоки” (мне теперь известно из Гугла, что это австралийское жаргонное выражение, соответствующее английскому “штаны на полмачты”[40 - То есть слишком короткие.]), и пел две свои песенки, которые мы часто просили исполнить. Вот первая:

Зачем корове столько ног? Узнать бы, право слово.

Не знаю я, не знаешь ты, не знает и корова.

А вот вторая, на мотив матросского танца хорнпайп:

Старичок, не зевай, чайник нам доставай,

Не достанешь, ну что ж, хоть кастрюльку давай.

Томас, единоутробный брат Пенни, родился в Кукушках как раз во время нашего там пребывания. Томас Докинз приходится мне дважды двоюродным братом – редкая степень родства. У нас общие все дедушки и бабушки, а значит, и все предки, кроме родителей. Процент общих генов у нас такой же, как у родных братьев, хотя мы и не похожи друг на друга. Новорожденному Томасу наняли няню, но она продержалась у нас недолго – пока не увидела, как дорогой дядя Билл готовит завтрак на обе семьи. Он расставлял тарелки вокруг себя на каменном полу и кидал в них по очереди яичницу и бекон, как будто сдавал карты. В то время люди еще не помешались на гигиене и технике безопасности, но все же это было слишком для брезгливой няни, которая тут же покинула наш дом и больше не возвращалась.

Мы с Сарой и Пенни учились в то время в школе Св. Анны в Челмсфорде, той самой школе, где в том же возрасте учились Джин и Диана, причем директором школы была все та же мисс Мартин. Я мало что помню об этой школе: только запах сладкой начинки для пирожков в школьной столовой, мальчика по имени Джайлс, утверждавшего, что его отец однажды лег на железнодорожное полотно между рельсами и над ним проехал поезд, а также имя учителя музыки – мистер Харп[41 - Harp (англ.) – “арфа”.]. Мы пели на его уроках песню “Красотка с Ричмонд-Хилл”[42 - Sweet Lass of Richmond Hills – английская баллада конца XVIII века. New Every Morning Is the Love – английский церковный гимн начала XIX века.]: “Я б корону отверг, чтобы стала моей...”, но я понимал это не как “Я отверг бы корону, чтобы стала моей...”, а считал, что “коронуотверг” – это один глагол, который, исходя из контекста, означает “очень хотел”. Подобную ошибку я делал и в интерпретации церковного гимна “Наутро новая любовь / Дарует пробужденье вновь”. Я не знал, что такое “пробуждениновь”, но полагал, что эту вещь, очевидно, неплохо получить в подарок. У школы Св. Анны был вполне достойный девиз: “Я могу, мне следует, я должен, я сделаю” (может быть, не в таком порядке, но звучал он примерно так). Взрослым, жившим в Кукушках, это напоминало песню верблюдов из

“Парадного марша войсковых зверей” Киплинга, которую они так здорово читали, что я никогда ее не забуду:

Не пойду! Никуда! Ни за что! Никогда!

Мы идем по тропе войны![43 - Перевод В. Лунина.]

В школе Св. Анны меня травили несколько более старших девочек – в действительности не так уж жестоко, но достаточно жестоко, чтобы я воображал, что если буду достаточно усердно молиться, то смогу призвать на их головы заслуженную кару сверхъестественных сил. Я представлял, как мне на помощь, прочертив небо над спортивной площадкой, придет черно-фиолетовая туча, похожая на нахмуренный профиль человеческого лица. Для этого нужно было только по-настоящему поверить, что это произойдет; и это не происходило, видимо, лишь потому, что я молился недостаточно усердно – как когда-то в школе Орла, где я молил превратить мисс Копплстоун в мою мать. Такова наивность детских представлений о молитвах. Разумеется, некоторые взрослые их так и не перерастают и молятся Богу о том, чтобы он придержал для них парковочное место или даровал им победу в теннисном матче.

Предполагалось, что, проучившись один семестр в школе Св. Анны, я вернусь в школу Орла, но, пока мы были в Англии, планы нашей семьи кардинально изменились, и я уже больше никогда не видел ни школы Орла, ни Копперс, ни Танка. Тремя годами раньше мой отец получил из Англии телеграмму, что он унаследовал от одного очень дальнего родственника семейные владения Докинзов в Оксфордшире, в том числе усадьбу Овер-Нортон-Хаус, поместье Овер-Нортон-Парк и несколько коттеджей в деревне Овер-Нортон. В 1726 году, когда оксфордширские владения купил член парламента Джеймс Докинз (1696–1766) и они впервые стали собственностью семьи Докинз, их площадь была намного больше. Он оставил их в наследство своему племяннику, моему прапрапрадеду, тоже члену парламента Генри Докинзу (1728–1814), отцу того Генри Докинза, который похитил невесту при помощи четырех двухколесных экипажей, помчавшихся в разных направлениях. Впоследствии этой недвижимостью владели многие поколения Докинзов, в том числе печально известный полковник Уильям Грегори Докинз (1825–1914), вспыльчивый ветеран Крымской войны, который, как утверждают, угрожал арендаторам изгнанием, если они не будут голосовать за ту же партию, что и он, причем, как ни странно, это была Либеральная партия. Полковник Уильям был человеком крайне обидчивым и к тому же сутяжником и истратил большую часть своего наследства на иски против старших офицеров, которых он обвинял в

оскорблениях. Все это тянулось долго и бессмысленно и не принесло выгоды никому, кроме (как обычно) юристов. Судя по всему, полковник был буйным параноиком. Он публично оскорбил королеву Викторию, набросился на своего командира лорда Рукби на лондонской улице и подал в суд на Верховного главнокомандующего, герцога Кембриджского. Еще прискорбнее было то, что он снес прекрасную усадьбу в георгианском стиле Овер-Нортон-Хаус, решив, что она населена привидениями, а в 1874 году построил на ее месте новое, викторианское здание. Из-за нескончаемых судебных исков он по уши погряз в долгах, вынужден был заложить все свои владения и умер в нищете в одном брайтонском пансионе, где жил на выдаваемые ему кредиторами два фунта в неделю. В конце концов – уже в XX веке – заклад был выплачен его горемычными наследниками, но для этого им пришлось продать большую часть земли, от которой в конечном итоге остался лишь небольшой клочок; его-то и унаследовал мой отец.

В 1945 году владельцем этих остатков был внучатый племянник полковника Уильяма майор Херевард Докинз, живший в Лондоне и редко бывавший в тех местах. Херевард, как и Уильям, был холостяком и не имел близких родственников по фамилии Докинз. Судя по всему, когда он готовил завещание, он изучил свое генеалогическое древо и нашел там моего дедушку, на тот момент старшего из живых Докинзов. По-видимому, его адвокат посоветовал ему пропустить старшее поколение, и в итоге выбор пал на моего отца, который приходился майору четвероюродным братом и был намного моложе. Так папа стал наследником Хереварда Докинза, и, как выяснилось, это был блестящий выбор, хотя в то время майор Херевард и предполагать не мог, что мой отец – именно тот человек, который сумеет не только сохранить оставшееся наследство, но и сделать его прибыльным: они никогда не встречались, и, пока отец не получил в Африке нежданную телеграмму, он, по-моему, даже не знал о существовании Хереварда Докинза.

В 1899 году некая миссис Дейли получила в качестве свадебного подарка договор о длительной аренде усадьбы Овер-Нортон-Хаус. Арендная плата, разумеется, исчезала в бездонной яме долгов полковника Уильяма. Миссис Дейли жила в усадьбе на широкую ногу со своей семьей, бывшей одним из столпов местного дворянства и неизменно участвовавшей в Хейтропской охоте на лис. Мои родители не ожидали, что наследство Хереварда изменит их жизнь, – отец собирался делать карьеру в департаменте сельского хозяйства Ньясаленда вплоть до выхода на пенсию (хотя на самом деле он смог бы работать там лишь до той поры, пока Ньясаленд не стал независимым государством Малави).

Однако в 1949 году, прибыв в Англию на “Умтали”, родители получили неожиданное известие о смерти старой миссис Дейли. Их первой мыслью было начать поиски другого арендатора. Но потом они задумались о возможности уехать из Африки и заняться фермерским хозяйством, и эта перспектива постепенно стала казаться им все более заманчивой. Одной из причин была подверженность Джин опасной форме малярии, но помимо этого родителей, вероятно, привлекала и возможность отдать нас с Сарой в английские школы. Наши дедушки и бабушки советовали им остаться в Африке, да и адвокат моих родителей был того же мнения. Родители Джона считали его долгом продолжать служить Британской империи в Ньясаленде, а мать Джин была полна мрачных предчувствий, что с фермерским хозяйством у нашей семьи ничего не выйдет, как это обычно и бывает. И все же Джон и Джин решили не следовать ничьим советам, не возвращаться в Африку, а поселиться в Овер-Нортоне и превратить имение в действующую ферму – впервые за два с лишним столетия, в течение которых оно использовалось лишь как парк для праздного дворянства. Джон подал в отставку из колониальной службы, тем самым лишившись пенсии, и, чтобы освоить навыки, которые должны были понадобиться ему в его новом деле, прошел обучение у нескольких английских фермеров. Папа с мамой решили не жить в усадьбе, а разделить ее на съемные квартиры в надежде на то, что ее содержание начнет окупаться (адвокаты советовали им снести здание, чтобы сократить убытки). Сами они задумали поселиться в коттедже, расположенном в начале подъездной аллеи, ведущей к усадьбе, но перед этим его нужно было основательно отремонтировать. И пока шел ремонт, мы все же некоторое время жили (пожалуй, лучше было бы сказать “квартировались”) в одном из закутков Овер-Нортон-Хауса.

Я по-прежнему был захвачен доктором Дулиттлом и в непродолжительный период нашего обитания в Овер-Нортон-Хаусе фантазировал в основном о том, чтобы научиться, как он, разговаривать с животными. Но я рассчитывал делать это даже лучше, чем доктор Дулиттл: посредством телепатии. В своих мыслях, молитвах и желаниях я призывал всех окрестных животных собираться в Овер-Нортон-Парке вокруг меня лично, чтобы я мог о них заботиться. Свои желания я выражал так часто именно в виде молитв, вероятно, под влиянием проповедников, от которых слышал, что, если достаточно сильно чего-либо захотеть, это случится и для этого не требуется ничего, кроме силы воли или силы молитвы. Я не сомневался, что, если верить достаточно сильно, можно двигать горы. Должно быть, я услышал это от какого-то проповедника, который, как это слишком часто с ними бывает, забыл объяснить легковерному ребенку разницу между метафорой и реальностью. Я порой задумываюсь о том,

понимают ли они сами эту разницу. Многие из них, похоже, думают, что это не так уж важно.

Мои детские игры того периода были пронизаны научно-фантастическими образами. Мы с моей подружкой Джилл Джексон играли в Овер-Нортон-Хаусе в космические корабли. Каждая кровать была таким кораблем, и мы часами с наслаждением фантазировали на эту тему. Интересно, как двое детей могут вместе выдумывать связные сюжеты, даже не обсуждая их заранее? Один ребенок ни с того ни с сего говорит: “Берегитесь, капитан! С левого фланга приближаются трунские ракеты!” – и другой тут же пытается от них уклониться, а затем, со своей стороны, объявляет о дальнейшем развитии событий.

К тому времени мои родители официально выписали меня из школы Орла и занялись поисками подходящей школы в Англии. Они, вероятно, хотели отдать меня в расположенную поблизости, в Оксфорде, школу Дракона, чтобы я мог продолжить обучение в заведении, проникнутом духом любви к приключениям. Но места в школе Дракона пользовались таким спросом, что ребенка нужно было записывать в нее с рождения. Поэтому меня отправили в школу Чейфин-Гроув в Солсбери (английском Солсбери, в честь которого был назван Солсбери в Родезии), где когда-то учились мой отец и оба его брата. Это тоже была по-своему неплохая школа.

Я должен объяснить читателям, не посвященным в тонкости британской терминологии, что Чейфин-Гроув и школа Орла были так называемыми подготовительными школами. К чему же они нас “подготавливали”? Ответ вносит еще больше путаницы: к публичным школам, называемым так потому, что на самом деле они как раз не публичные, а частные и учиться там могут только те дети, чьи родители в состоянии оплатить их обучение. Неподалеку от моего дома в Оксфорде расположена Вичвудская школа, у ворот которой в течение нескольких лет висела восхитительная табличка:

Вичвудская школа для девочек (подготовительная для мальчиков).

Итак, школа Чейфин-Гроув была подготовительной школой, в которой я учился с 8 до 13 лет, готовясь там к обучению с 13 до 18 лет в публичной школе. Кстати, я думаю, что моим родителям даже не приходило в голову отдать меня в какую-либо другую школу, не похожую на те школы-интернаты, где обычно учились

Докинзы. Они, вероятно, считали, что хоть это и дорого, но стоит того.

Под шпилем собора в Солсбери

Начало учебы в новой школе всегда сопряжено с трудностями. В свой самый первый день в Чейфин-Гроув я убедился, что мне предстоит выучить некоторые новые слова. Меня озадачило слово *russe* (“красно-коричневый”). Я видел его написанным на стене и ошибочно полагал, что оно должно произноситься как *risku*. В конце концов я догадался, что это ругательство, синонимичное слову *wet* (“мокрый”), тоже популярному в Чейфин-Гроув, в значении “ничтожный”. Антонимом к этим ругательствам было слово *muscle* (“мускульный”): “Я родился в мускульной Индии, а не в ничтожной красно-коричневой Африке” (в ту пору многие дети, учившиеся в таких школах, были уроженцами той или иной британской колонии, окрашенной на картах розовым цветом). Слово *wig* (“парик”) на диалекте Чейфин-Гроув означало “пенис”. “Ты круглоголовый или кавалер?[44 - Во время Английской революции XVII века “круглоголовыми” (Rounheads) прозвали сторонников парламента, а “кавалерами” (Cavaliers) – роялистов. На сленге же “круглоголовыми” называют мужчин, подвергшихся обрезанию, а “кавалерами” – не подвергшихся.] Ну, твой парик, он как гриб или как шнурок?” Такие анатомические подробности, как обрезанный или необрезанный пенис, все равно не были секретом, потому что каждое утро мы выстраивались голыми, чтобы принять холодную ванну. Как только раздавался сигнал подъема, мы должны были тут же вскакивать с постелей, снимать пижамы, брать полотенца и плестись в ванную, где одна из трех ванн была заполнена холодной водой. Мы ныряли в нее и как можно быстрее выпрыгивали из воды под надзором директора школы, мистера Гэллоуэя. Время от времени тот же сигнал поднимал нас среди ночи на учебную пожарную тревогу. Во время одной такой тревоги я был настолько сонным, что машинально проделал утреннюю процедуру – снял пижаму, взял полотенце и спустился вниз по пожарной лестнице совершенно голым. Лишь спустившись, я понял свою ошибку – все остальные были в пижамах, халатах и тапочках. К счастью, дело было летом. Мы, разумеется, принимали не только холодные ванны. По вечерам (не помню, сколько раз в неделю) ванны для нас наполнялись теплой водой, и в них мы стояли, пока нас мыла заведующая хозяйством или ее заместительница, что нам особенно нравилось, потому что она была симпатичная.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

C. R. D.: Clinton Richard Dawkins и Charles Robert Darwin. – Здесь и далее, если не указано иное, звездочками отмечены примечания переводчика.

2

H. B. Wheatley, P. Cunningham. London Past and Present (London: Murray, 1891), vol. 1, p. 109. Здесь и далее цифрами отмечены примечания автора.

3

Стивен Ликок. Гувернантка Гертруда, или Простодушие семнадцатилетней. Пер. с англ. А. Вышемирского.

4

Год выхода английского издания этой книги.

5

Слова Фальстафа из второй части “Генриха IV”: “...а когда он раздевался, он напоминал двухвостую редьку-раскоряку с пририсованной сверху головой” (пер. Б. Пастернака).

6

Мастер (master) – глава некоторых колледжей в Оксфорде и ряде других университетов.

7

Перевод стихотворений выполнен Петром Петровым, если не указано иное. – Прим. ред.

8

Спунеризм – оговорка или игра слов, при которой слова “обмениваются” соответствующими звуками или частями (“нельзя ли у трамвала вокзай остановить” и т. п.).

9

См. онлайнное приложение к этой книге: <https://richarddawkins.net/afw/>
(<https://richarddawkins.net/afw/>).

10

И о котором я написал некролог (см. то же онлайнное приложение).

11

<http://wittgensteinrepository.org/agora-alws/article/view/2448/2620>
(<http://wittgensteinrepository.org/agora-alws/article/view/2448/2620>).

12

Growing up in ethology, chapter 8 // L. Drickamer, D. Dewsbury, eds. *Leaders in Animal Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

13

Из книги: *Randigal Rhymes*, ed. Joseph Thomas. Penzance: F. Rodda, 1895.

14

Слово bully на корнуолльском диалекте означает гальку, но бабушка говорила, что имеется в виду сливовая косточка, – и это логичнее.

15

Местная поговорка.

16

Я проконсультировался по этому поводу с профессором Бьёрном Меландером, специалистом по скандинавским языкам, и он согласился с моей теорией “оскорбления или лести”, но добавил, что ситуация неизбежно осложняется особенностями контекста.

17

Престижная лондонская школа, где учились многие знаменитости.

18

Sparrowhawk (англ.) – ястреб-перепелятник.

19

Термином “аскари” назывались рядовые африканцы, служившие в Королевских африканских стрелках.

20

“Счастливая долина” (Happy Valley) – поселение британских аристократов в Кении, в окрестностях города Ньери, скандально известное декадентским образом жизни поселенцев.

21

Одно из значений слова trim (англ.) – “подрезка”.

22

“Дандридж” (dundridge) – слово, которое мы с женой используем между собой для обозначения бессердечных бюрократов, любителей строгих правил. Оно заимствовано из сатирического романа Тома Шарпа, где фамилию Дандридж носит типичный представитель данной породы. Это слово так подходяще звучит! Для включения нового слова в “Оксфордский словарь английского языка” требуется, чтобы его достаточно часто употребляли в письменной речи, не разъясняя его значения и не ссылаясь на первоисточник. У меня уже есть опыт успешного внедрения в язык нового слова, и я рад, что мой предыдущий неологизм “мем” (meme) стал удовлетворять этим критериям и прочно занял место в словарях среди других слов на букву М. Пожалуйста, используйте слово “дандридж”, чтобы оно тоже вошло в оборот.

23

У нас такие самолеты называют кукурузниками. – Прим. ред.

24

“В тот день, когда хлынул дождь” (The Day That the Rains Came) – песня Жильбера Беко, ставшая хитом в исполнении Джейн Морган (1958).

25

Англо-индийское словечко *garrimotor*, по-видимому, вошло в речь нашей семьи через дедушек и прадедушек, работавших в колониях, хотя не исключено, что оно просто распространилось из Индии по всей империи.

26

Стихотворение Эзры Паунда “Старинная музыка” (Ancient Music), пародия на старинную английскую песню “Лето пришло” (Summer Is Icumen In), содержит рефрен: “Пойте: «Черт возьми!»”

27

Прозвище одного из студентов Тринити-колледжа.

28

Роберт Джонсон, выпускник Нового колледжа Оксфордского университета, впоследствии много лет возглавлявший Королевский монетный двор.

29

В романе Марселя Пруста “По направлению к Свану” (1913) есть фрагмент, посвященный воздействию печений “Мадлен” (мадленок) на воспоминания главного героя. – Прим. ред.

30

Из поэмы Томаса Стернза Элиота “Бесплодная земля” (The Waste Land, 1922), перевод Я. Пробштейна.

31

“Коричневый кувшинчик” (Little Brown Jug) – песня американского композитора Джозефа Уиннера (1869).

32

Our God, Our Help in Ages Past – гимн начала XVIII века на стихи Исаака Уоттса.

33

Fight the Good Fight with All Thy Might – церковный гимн на стихи ирландского поэта XIX века Джона Монселла, исполняется на несколько разных мотивов.

34

Уильям Тиндейл (около 1494–1536) – переводчик Библии на английский (“Библия Тиндейла”). Томас Кранмер (1489–1556) – архиепископ Кентерберийский, автор предисловия к другому известному переводу Библии на английский (“Большая Библия”, также известная как “Библия Кранмера”, хотя он и не участвовал в работе над переводом), отчасти основанному на переводе Тиндейла. “Большая Библия” была первым официальным изданием Библии на английском языке.

35

Специесизмом (англ. speciesism) или видовым шовинизмом называют, по аналогии с расизмом и шовинизмом соответственно, представление о превосходстве одного вида (прежде всего, человека разумного) над другими.

36

Роман Уильяма Голдинга (1954). – Прим. ред.

37

Samptown Races – американская песня середины XIX века, написанная для менестрель-шоу (народного театра, в котором белые актеры изображали чернокожих).

38

В американском английском, в отличие от британского, есть тенденция озвучивать букву R после гласных, где британцы ее обычно не произносят. Слово birds звучит примерно как “бёрррдз”.

39

Аналог казаков-разбойников.

40

То есть слишком короткие.

41

Harp (англ.) – “арфа”.

42

Sweet Lass of Richmond Hills – английская баллада конца XVIII века. New Every Morning Is the Love – английский церковный гимн начала XIX века.

43

Перевод В. Лунина.

44

Во время Английской революции XVII века “круглоголовыми” (Rounheads) прозвали сторонников парламента, а “кавалерами” (Cavaliers) – роялистов. На сленге же “круглоголовыми” называют мужчин, подвергшихся обрезанию, а “кавалерами” – не подвергшихся.

Купить: <https://tellnovel.com/richard-dokinz/neutolimaya-lyuboznatel-nost-kak-ya-stal-uchenym>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)